

Проступок аббата Муре

Автор:

Эмиль Золя

Проступок аббата Муре

Эмиль Золя

Книга в сумочку Ругон-Маккары #5

Эмиль Золя, как никто другой, умел рассказать о любви и тех препятствиях, которые поджидают влюбленных на пути к счастью. «Проступок аббата Муре» – жемчужина западной литературы XIX века, роман, который и сегодня читается легко и увлекательно.

Серж Муре, молодой аббат, только что окончивший семинарию, отправляется в деревушку Арто, чтобы там стать священником. У юноши новая обстановка вызывает стресс, и дядя отводит его в сад Параду. Там Муре знакомится с красавицей Альбиной, дочерью сторожа. Между ними вспыхивает любовь, но для аббата новые чувства еще и важное испытание. Ему нужно будет сделать сложный выбор – между Богом и земной красотой.

Эмиль Золя

Проступок аббата Муре

© В. Пяст, перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

I

Вошла Теза и приставила щетку и метелочку к алтарю. Она замешкалась, делая приготовления к большой полугодовой стирке, и теперь ковыляла через всю церковь, торопясь прозвонить «Angelus»[1 - «Ангел» (лат.) – начальные слова молитвы в честь богородицы; перезвон колоколов.]. В спешке она хромала больше, чем обычно, и задевала за скамьи. Около исповедали с потолка спускалась веревка, ничем не обернутая, истрепанная, с толстым узлом на конце, захватанным руками и засаленным. Теза повисла на ней всей своей тяжестью, дернула раз, другой, а потом стала мерно раскачиваться, путаясь ногами в юбках. Чепец у нее сбился на сторону, широкое лицо налилось кровью.

На ходу поправив чепец, Теза, тяжело дыша, возвратилась к алтарю и принялась перед ним мести. Пыль ежедневно скапливалась тут – в расщелинах плохо сколоченных досок помоста. Щетка шарила по углам и точно сама раздраженно ворчала. Затем Теза приподняла покров с престола и даже рассердилась, увидев, что верхняя напрестольная пелена, и без того заштопанная в двадцати местах, снова прорвалась от ветхости в самой середине; сквозь дыру виднелась сложенная вдвое нижняя пелена, до такой степени редкая и прозрачная, что через нее просвечивал освященный камень, вставленный в престол из раскрашенного дерева. Она обмахнула метелочкой эти порыжевшие от времени пелены и с силой провела ею вдоль ступени, на которую раньше составила футляры с престола. И, наконец, взобравшись на стул, сняла с креста и двух подсвечников желтые чехлы из бумажной ткани. Медь вся была покрыта какими-то тусклыми пятнами.

– Да, их давно пора вычистить, – пробормотала вполголоса Теза. – Ладно, потру как-нибудь красной глиной.

Тяжело припадая на одну ногу так, что гудели плиты, она побежала в ризницу за требником. Не раскрывая книги, она положила ее на аналой, рядом с «Апостолом», обрезом внутрь. Потом зажгла две восковые свечи. Унося щетку, Теза огляделась вокруг, желая удостовериться, что хозяйство господа бога в

полном порядке. Церковь спала; только веревка возле исповедальни все еще раскачивалась от сводов к полу медленно и плавно.

Аббат Муре только что сошел в ризницу, маленькую холодную комнату, отделенную от столовой одним коридором.

– Доброе утро, господин кюре, – сказала Теза, ставя в угол метлу. – Нынче вы что-то лентяя задали! Знаете, ведь уже четверть седьмого.

И, не давая молодому улыбавшемуся священнику ответить, продолжала:

– Вас стоит пожурить. Пелена опять разорвалась. Куда это годится? У нас только одна на смену: я уж третий день глаза себе порчу, все штопаю ее... Так вы, чего доброго, оставите бедного господа нашего Иисуса Христа и вовсе голым!

Аббат Муре, не переставая улыбаться, весело проговорил:

– Иисусу Христу не надобно столько покровов, моя добрая Теза! Любите его, и ему будет тепло: наша любовь согревает его лучше всяких покровов.

Потом, направляясь к небольшому рукомоюнику, он спросил:

– Что, сестрица встала? Я ее еще не видел.

– Мадемуазель Дезире уже давно на ногах. – Говоря это, Теза стояла на коленях перед старым кухонным шкафом, в котором были сложены священные одеяния. – Она спустилась к своим курам и кроликам... Ждет цыплят со вчерашнего дня, а их все нет как нет. Само собой, очень волнуется.

И другим тоном добавила:

– Вам ризу золотую?

Священник, уже вымывший руки и сосредоточенно вполголоса читавший молитву, утвердительно кивнул головой. В приходе было всего три ризы: лиловая, черная и золотая. Последняя служила и по тем дням, когда предписывались белая, красная и зеленая, – и потому ее особенно берегли. Теза

благоговейно сняла ризу с полки, застланной синей бумагой, куда укладывала ее после каждого богослужения, и положила на шкаф, осторожно отделив от вышитой парчи тонкое полотно, в которое риза была завернута. Показался золотой агнец, спящий на золотом кресте и окруженный широким золотым сиянием. Ткань изнасилась на складках и образовала вокруг них бахрому; выпуклые украшения порядочно стерлись и потускнели. Эта риза служила предметом тревожных забот всего дома: все ужасались, видя, как блески одна за другой слетают с нее. Священнику приходилось надевать ее почти ежедневно. А чем ее заменить, когда изорвутся последние золотые нити? На какие средства купить три ризы, которые она одна заменяла?

Поверх ризы Теза разложила епитрахиль, орарь, поясной шнур, стихарь и нарамник. Она не переставала болтать, хотя и укладывала в это время орарь в виде креста на епитрахили и располагала гирляндю шнур так, чтобы он изобразил заглавную букву святого имени деви Марии.

– И шнур уже никуда не годится! – бормотала она. – Пора бы вам решиться купить новый, господин кюре... Будь у меня конопля, я бы сама его сплела, дело нехитрое.

Аббат Муре не ответил. Он приготавливал на столике чашу – большую старинную позолоченную серебряную чашу на бронзовой подставке. Он только что вынул ее из белого деревянного шкафа, где хранились священные покровы и сосуды, миро, требники, подсвечники, кресты. Он накрыл чашу чистым платом, поставил сверху серебряный, вызолоченный дискос, на котором лежала просфора, и прикрыл его малым холщовым платом. Когда он покрывал чашу, зашипывая две складки парчового плата, подобранного по цвету и виду к ризе, Теза воскликнула:

– Пойдите, в футляре нет антиминса!.. Вчера вечером я собрала все покровы, платы и антиминсы, чтобы выстирать их, разумеется, отдельно от остального белья... Я вам еще не говорила, господин кюре: ведь я уже начала стирать. Громадная стирка будет! Почисте, чем в прошлый раз!

И пока священник опускал антиминс в футляр, украшенный золотым крестом на золотом же фоне, и ставил этот футляр на покров, Теза поторопилась сказать:

– Кстати, я и забыла! Этот постреленок Венсан не пришел. Хотите, я помогу вам служить обедню, господин кюре?

Молодой священник строго взглянул на нее.

– Да ведь тут нет греха! – продолжала она со всегдашней своей доброй улыбкой. – Я это уже однажды делала при господине Каффене. Я, право, лучше служу, чем эти сорванцы: они смеются, точно язычники, при виде мухи, залетевшей в церковь... Не смотрите, что я в чепце, что мне стукнуло шестьдесят и что я толста, как башня, – господа бога я почитаю побольше, чем эти негодники-мальчишки! Еще намедни я их застала в алтаре, они там в чехарду играли.

Священник продолжал глядеть на нее, отрицательно покачивая головой.

– Дыра какая-то эта деревушка, – ворчала она, – в ней и полтора душа не наберется. Случается, за целый день, вот как сегодня, живого человека не встретишь. Даже грудных младенцев – и тех тащат в виноградники! Хотела бы я знать, что они там делают, в этих виноградниках! Лозы торчат между камнями, сухие, как чертополох! Вот уж, поистине, волчье логово это Арто, ведь отсюда не меньше лье до ближайшей дороги... Разве что ангел сойдет с небес помочь отслужить вам обедню, господин кюре! Не то, право, никого, кроме меня, не дождетесь! Вот только, может, кролика нашей барышни, не в обиду вам будь сказано.

Но как раз в эту минуту Венсан, младший из братьев Брише, тихонько отворил дверь ризницы. Увидав его всклокоченные рыжие волосы и узкие серые глазки, в которых так и прыгали огоньки, Теза вскипела.

– Ах безбожник! – закричала она. – Бьюсь об заклад, что ты уже успел набедокурить!.. Ну же,ходи,ходи скорей, бездельник! А то господин кюре боится, как бы я не осквернила господа бога!

При виде мальчугана аббат Муре взял нарамник. Он приложился к вышитому посередине кресту, с минуту подержал одеяние над головой и, опустив его на воротник рясы, скрепил ленты крест-накрест, правую поверх левой. Затем, начав с правой руки, надел стихарь – символ непорочности. Венсан присел на корточки и вертелся вокруг священника, поправляя стихарь и следя, чтобы он со всех

сторон ниспадал ровными складками не ниже чем на два пальца от пола. После чего он подал аббату шнур, которым тот крепко-накрепко препоясал чресла – в память уз, наложенных на спасителя во время его страстей.

Теза стояла рядом. Она была уязвлена, мучилась ревностью и едва сдерживалась. Впрочем, язык у нее так и чесался, и долго сохранить молчание она не могла:

– Приходил брат Арканжиас. Сегодня в школе у него ни одного ученика не будет. Вот он и помчался, словно буря, в виноградники надрать уши всей этой мелюзге... Вам бы надо с ним повидаться. Ему, видно, хочется кое-что сообщить.

Аббат Муре жестом приказал ей замолчать. Сам он больше не разжимал губ. Он тихо прочел положенные молитвы, взял ораль, приложился к нему и надел на левую руку повыше локтя, посвящая себя на добрые дела. Затем скрестил на груди епитрахиль – символ священнического сана и власти, – также предварительно приложившись к ней. Когда понадобилось укрепить ризу, Теза поспешила на помощь Венсану: она тонкими шнурами привязала ее так, чтобы та не спадала назад.

– Пресвятая дева! Я позабыла сосуды! – пробормотала она и бросилась к шкафу. – Живее, пострел!

Пока Венсан наполнял сосуды из толстого стекла, она поспешно вытащила из ящика чистый плат. Аббат Муре, держа чашу снизу левой рукой и возложив персты правой на футляр с антиминсом, сделал, не снимая скуфьи, низкий поклон перед распятием из черного дерева, висевшим над шкафом. Мальчик тоже поклонился; затем первым вышел из ризницы, неся покрытые платом сосуды. За ним, в глубоком благоговении, опустив глаза долу, последовал священник.

II

В это майское утро пустая церковь так и сверкала белизной. Веревка возле исповедальни перестала раскачиваться. Направо от дарохранительницы, у

самой стены, красным пятном горела лампада из цветного стекла. Венсан отнес сосуда на жертвенник, сошел налево, на нижнюю ступень, и опустился на колени. А священник, преклонив колени на каменном полу церкви перед святыми дарами, поднялся затем к престолу, разостлал антиминос и поставил посреди его чашу. Потом с трезубком в руках вновь сошел вниз, опустился на колени и истово перекрестился. Затем молитвенно сложил на груди руки и приступил к великому божественному действию, с лицом, бледным от веры и любви:

- Introibo ad altare Dei[2 - Вниду ко алтарю господню (лат.)].

- Ad Deum qui loetificat juventutem meam[3 - К богу, который радуется юности моей (лат.)], - пробормотал Венсан. Он проглатывал ответы на антифоны и псалом, потому что то и дело поворачивался на пятках и озирался на шмыгавшую по церкви Тезу.

Старуха с беспокойством поглядывала на одну из восковых свечей. Ее тревога, казалось, усилилась, когда священник, склонившись в земном поклоне и вновь сложив руки, стал произносить «Confiteor»[4 - Исповедую (лат.) - католическая молитва при исповеди.]. Теза также остановилась, ударила себя в грудь, наклонила голову, но продолжала следить за свечой. Торжественный голос священника и бормотание служки еще некоторое время сменяли друг друга.

- Dominus vobiscum[5 - Господь с вами (лат.)].

- Et cum spiritu tuo[6 - И со духом твоим (лат.)].

Затем священник, расставив руки и вновь соединив их, произнес с чувством умиления и сердечным сокрушением:

- Oremus...[7 - Помолимся... (лат.)]

Теза не в силах была дольше сдерживаться. Она прошла за алтарь, дотянулась до свечи и обстригла фитиль кончиком ножниц. Свеча оплывала. Две большие восковые слезы уже скатились с нее. Теза вернулась на середину церкви, стала поправлять скамейки, осмотрела, полны ли кропильницы. А священник приблизился к алтарю, возложил руки на пелену престола, помолился шепотом и затем прикоснулся к ней губами.

Позади него внутренность церковки по-прежнему озарялась бледным утренним светом. Солнце поднялось только до уровня черепичных крыш. «Kyrie, eleison»[8 - «Господи, помилуй» (греч.).] трепетно прозвучало в этом жалком строении, напоминавшем сарай с оштукатуренными стенами и плоским потолком, на котором виднелись выбеленные балки. С каждой стороны было по три высоких окна с обыкновенными стеклами, по большей части треснувшими или разбитыми; они пропускали какой-то резкий белесоватый свет. Солнечные лучи врывались в них бурно и обнажали нищету божьего дома в этой затерянной деревушке. В глубине, над главным, никогда не отворявшимся входом, порог которого зарос травой, возвышались дощатые хоры, куда вела крутая лестница. Они занимали пространство от одной стены до другой; по праздникам доски так и скрипели под деревянными башмаками прихожан. Неподалеку от лесенки помещалась крашенная в лимонно-желтый цвет исповедадьня с разохшимися филенками. Напротив, возле низенькой двери, стояла купель, старинная кропильница на каменной подставке. А посреди церкви, справа и слева, высились два небольших алтаря, окруженных деревянной балюстрадой. В левом приделе, посвященном святой деве, находилась гипсовая позолоченная статуя божьей матери: на ее каштановых локонах золотилась корона, левой рукой она поддерживала младенца Иисуса, нагого и улыбающегося; маленькой ручкой он возносил звездную сферу вселенной. Дева-мать ступала по облакам; у ног ее виднелись головки крылатых херувимов. Над правым алтарем, где служились панихиды, возвышалось распятие из раскрашенного картона. Христос, словно дополнявший мадонну из левого придела, был величиной с десятилетнего ребенка; он был изображен в страшной агонии, с закинутой назад головой, с выдававшимися вперед ребрами, с запавшим животом, со скрюченными, забрызганными кровью руками и ногами. В церкви имелась еще кафедра – четырехугольный ящик, на который надо было взбираться по лесенке из пяти ступенек. Кафедра возвышалась против стенных часов с гирями, заключенных в футляр орехового дерева. Глухие удары маятника напоминали биение огромного сердца, которое, казалось, было спрятано где-то под плитами пола и сотрясало церковь. Вдоль всей средней части церкви тянулись четырнадцать грубо намалеванных картин в черных багетовых рамах, изображавших четырнадцать этапов крестного пути. Эти «страсти Господни» оттеняли желтыми, синими и красными пятнами резкую белизну стен.

- Deo gratias[9 - Богу благодарение (лат.)], - пробормотал Венсан по окончании «Апостола».

Близилась тайна любви – заклание святой жертвы. Служка взял требник и положил его налево, рядом с евангелием, при этом он старался не дотронуться до листов книги. Проходя мимо дарохранильницы, он всякий раз торопливо преклонял колени и сгибался в поклоне. Затем он перешел на правую сторону церкви и, скрестив руки, смиренно слушал чтение евангелия. Священник осенил служебник крестным знаменем и перекрестился сам: особо перекрестил он чело в знак того, что никогда не будет стыдиться божественного глагола; уста – дабы показать постоянную готовность исповедовать истинную веру; сердце – указывая этим, что оно всецело принадлежит господу богу.

– *Dominus vobiscum*, – сказал он и обернулся. Взор его утонул в холодной, пустынной белизне церкви.

– *Et cum spiritu tuo*, – ответил Венсан, снова опускаясь на колени.

Произнеся молитвы проскомидии, священник открыл чашу. С минуту он подержал на уровне груди дискос с причастием – жертвою, которую он вознес богу за себя, за присутствующих и за всех верующих, живых и мертвых. Затем, не дотрагиваясь пальцами до просфоры, он сделал движение, от которого она соскользнула к краю антимины, взял чашу и бережно вытер ее платом. Венсан, подойдя к жертвеннику, снял и начал передавать пастырю сосуды – сначала склянку с вином, затем с водою. И тогда пастырь принес жертву за весь мир – наполненную до половины чашу, которую он водрузил на середину антимины и покрыл воздухами. Затем, помолившись еще, омыл тонкой струей воды кончики большого и указательного пальцев каждой руки, дабы очиститься от малейших пятен греха. Когда священник вытерся платом, Теза, дожидавшаяся этого, вылила воду в цинковое ведро, стоявшее в углу алтаря.

– *Orate, fratres*[10 - Помолимся, братие (лат.)], – громко возгласил священник и, обратившись к пустым скамьям, распростер и вновь соединил руки, призывая к молитве усердных прихожан.

Затем он повернулся к алтарю и продолжал службу, понизив голос. Венсан пробормотал длинную латинскую фразу и запутался в ней. И в эту минуту в окна церкви хлынули желтые лучи. На призыв священника к обедне пришло солнце. Оно залило широкими золотыми потоками левую стену, исповедальню, алтарь девы Марии, большие часы. В исповедальне что-то хрустнуло. Богородица, в сиянии славы, в блеске короны и золотой мантии, нежно улыбнулась младенцу Иисусу нарисованными губами. Часы тоже согрелись и словно пошли быстрее.

Казалось, солнце населило скамьи пылинками, и они закружились и заплясали в его лучах. Скромная церковь, напоминая выбеленный сарай, будто наполнилась живой толпой. Снаружи доносился веселый шум просыпающихся полей: привольно вздыхали травы, обогревались на солнышке листья, приглаживали свои перышки и вспархивали птицы. Вместе с солнцем в церковь вошла и сама природа. У одного из окон высилась могучая рябина, ветви ее просунулись в разбитые стекла, и почки точно пытались заглянуть внутрь; а в скважины пола из-под двери пробивалась с паперти трава, грозя заполнить собою церковь. Среди этой торжествующей жизни один лишь великий Христос, оставаясь в полумраке, напоминал о смерти, выставляя напоказ страдания своей намалеванной охрой и затертой лаком плоти. В разбитое окно влетел воробей; поглядел и упорхнул, но тотчас же вновь появился, бесшумно полетал по церкви и опустился на скамью перед алтарем деви Марии. За ним последовал другой. И вскоре со всех ветвей рябины слетелись воробьи и без страха запрыгали по плитам пола.

– Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus, Sabaoth[11 - Свят, свят, свят, господь бог Саваоф (лат.)], – произнес священник вполголоса и слегка наклонил плечи.

Венсан трижды прозвонил в колокольчик. Воробьи, испуганные этим внезапным звоном, упорхнули с таким шумом, что Теза, ушедшая было в ризницу, возвратилась оттуда, ворча:

– Негодники! Они все перепачкают... Бьюсь об заклад, это наша барышня опять набросала им хлебных крошек.

Приближалась грозная минута. Тело и кровь бога нисходили на алтарь. Священник приложился к пелене, соединил руки, многократно осеняя крестным знаменем и чашу, и причастие. Он совершал теперь положенные молитвы, охваченный смирением и признательностью к господу. Его движения и позы, прерывающийся голос – все говорило о том, каким он чувствует себя ничтожным и какое испытывает волнение от того, что избран для столь высокого деяния. Венсан опустился позади священника на колени и, слегка поддерживая его ризу левой рукой, приготовился звонить в колокольчик. А тот, опершись локтями о край престола, взял просфору указательным и большим пальцами обеих рук и произнес священные слова: *Nos est enim corpus meum*[12 - Ибо сие есть тело мое (лат.)]. Затем, преклонив колени, медленно поднял причастие над собой, как только мог выше, не переставая смотреть на него. В это время служка, простершись на полу, трижды прозвонил в колокольчик. После этого священник

снова положил на престол локти, поклонился, поднял чашу, на этот раз следя глазами за нею, и, сжимая правой рукой подставку, которую поддерживал левой, освятил вино: *Hic est enim calix*[13 - Ибо сие есть чаша (лат.)]. Служка в последний раз трижды прозвонил.

Вновь совершилось великое таинство искупления, вновь пролилась божественная кровь.

Но воробьи больше ничего не боялись. В самый разгар звона они нахально возвратились в церковь и запрыгали по скамьям. Всякий раз звон колокольчика будто радовал их, и они отвечали на него громким чириканьем: казалось, это уличные мальчишки перебивают латынь священника своим жемчужным смехом. Солнце пригревало птицам перышки; кроткая бедность церкви словно очаровывала их, здесь они вели себя как дома, как в овине, где оставили открытым слуховое окно: они чирикали, дрались и ссорились из-за крошек, рассыпанных на полу. Один воробей уселся на золотое покрывало улыбавшейся пречистой девы, другой затеял возню возле юбок Тезы, которую такая дерзость окончательно вывела из себя. И лишь душевно сокрушенный священник, устремив пристальный взор на святое причастие и соединив большой и указательный пальцы, не слышал возни внутри церкви; стоя в алтаре, он не замечал ни теплого майского утра, ни потоков солнечного света, ни вторжения зелени, ни птиц у самого подножия Голгофы, где осужденная на смертную муку плоть билась в агонии.

- *Per omnia saecula saeculorum*[14 - И во веки веков (лат.)], - возгласил священник.

- *Amen*[15 - Аминь (лат.)], - отвечал Венсан.

Окончив «*Pater*»[16 - «Отче наш» (лат.)], священник положил просфору поверх чаши и преломил ее посередине. От одной из половинок он отделил частицу и уронил ее в святую кровь в знак тесного союза, который собирался заключить с богом через причастие. Затем он громко прочитал «*Agnus dei*»[17 - «Агнец божий» (лат.) - начальные слова молитвы.] и совсем тихо - три остальные предписанные молитвы; он воскорбел о собственном ничтожестве и покаялся, после чего, опершись о престол локтями и подставив дискос под самый подбородок, причастился сразу обеими половинами просфоры. Затем, подняв руки к лицу в горячей молитве, собрал на антиминос при помощи дискоса священные частицы, отделенные от причастия, и положил их в чашу. Одна

частица пристала к его большому пальцу; кончиком указательного он снял ее. Перекрестив себя чашей, он вновь поднес дискос к подбородку и в три глотка, не отрывая губ от чаши, осушил ее до дна, приобщившись к драгоценной крови и телу господню.

Венсан встал, чтобы взять сосуды с жертвенника. Но внезапно дверь из коридора, соединявшего церковь с жилищем священника, отворилась настежь, коснувшись стены, и в проходе показалась красивая девушка лет двадцати двух, с ребяческим выражением лица, что-то прятая в переднике.

– Целых тринадцать! – воскликнула она. – Все яйца были хорошие!

Отвернув передник, она показала выводок цыплят: птенцы шевелили крылышками, покрытыми нежным пушком, и смотрели черными бусинками глаз.

– Поглядите! Какие милашки, просто душечки!.. Вот этот беленький уже взбирается на спинки других! А тот, пестренький, уже хлопает крылышками!.. Дивные яйца. Ни одного болтуна!

Теза, все же помогавшая служить обедню, передавая Венсану сосуды для омовения, обернулась и громко сказала:

– Помолчите, мадемуазель Дезире! Сами видите, мы еще не закончили!

Крепкий запах скотного двора, словно свежее дуновение жизни, проникал в церковь через раскрытую дверь вместе с падавшими на алтарь теплыми лучами солнца. С минуту Дезире постояла, любясь принесенным ею семейством и глядя, как Венсан наливает вино очищения, а брат пьет его, чтобы во рту не осталось ничего от святых даров. Она все еще стояла, когда он возвратился, держа чашу обеими руками, дабы принять на большой и указательный пальцы вино и воду омовения, которые он также выпил. Но тут курица, искавшая своих цыплят, закудаhtала поблизости, угрожая вторгнуться в церковь. Тогда Дезире удалилась, осыпая птенцов материнскими ласками. В это время священник приложил плат к губам, а затем вытер им края и дно чаши.

Обедня заканчивалась, пастырь возглашал благодарение богу. Служка в последний раз принес требник и положил его справа. Священник накрыл чашу платом, дискосом и воздухами; затем снова зашипнул на покрове две широкие

складки и опустил на него футляр, в который вложил антиминс. Все его существо выражало горячую благодарность. Он спрашивал у неба отпущения грехов, благодати святого жития и приобщения к вечной жизни. Он все еще был поглощен чудом божественной любви, непрерывным жертвенным закланием, ежедневно питавшим его кровью и плотью спасителя.

Прочитав молитвы, он обернулся и произнес:

- *Ite, missa est*[18 - Ступайте, обедня окончена (лат.)].

- *Deo gratias*, - отвечал Венсан.

Священник повернулся и приложился к алтарю, затем снова вышел вперед. Протянув правую руку, а левую держа пониже груди, он благословил церковь, полную солнечного света и воробьиного гама:

- *Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus*[19 - Да благословит вас господь всемогущий, отец и сын и святой дух (лат.)].

- *Amen*, - ответил служка и перекрестился.

Солнце поднималось все выше, и воробьи совсем осмелели. Священник читал на левом аналое евангелие от Иоанна, возвещавшее о вечности Слова. А тем временем солнечные лучи залили весь алтарь, осветили створки, отделанные под мрамор, и совсем поглотили огоньки двух свечей: теперь их короткие фитили казались двумя темными пятнами. Торжествующее светило ярко озаряло крест, подсвечники, ризу, покровы на чаше, и все это золото меркло под его лучами. А когда священник, взяв чашу и преклонив колена, с покрытой головой, вышел из алтаря в ризницу, предшествуемый служкой, который нес плат и сосуды, - дневное светило осталось единственным властелином церкви. Лучи его позолотили пелену, зажгли блеском дверцу дарохранительницы, славя плодородие мая. От плит веяло теплом. По оштукатуренным стенам, по статуе пречистой девы и даже по распятию пробегал трепет жизни, будто сама смерть была побеждена вечной юностью земли.

Теза поспешила потушить свечи. Она замешкалась, выгоняя воробьев; и когда отнесла в ризницу требник, аббата Муре там уже не было. Он сам убрал священную утварь, оmyв предварительно руки, и теперь в столовой, стоя, завтракал чашкою молока.

– Вам бы не стоило позволять сестре разбрасывать в церкви хлеб, – заявила Теза, входя в комнату. – Эту милую затею она придумала прошлой зимой. Уверяет, что воробьям холодно и господь бог может их накормить... Вот увидите, она еще заставит нас спать вместе с курами и кроликами.

– Нам же будет теплее, – добродушно отвечал молодой священник. – Вечно-то вы ворчите, Теза! Пусть бедняжка Дезире возится со своими животными. Ведь у нее, у нашей простушки, других радостей нет!

Служанка так и застыла посреди комнаты.

– Ну да, – возразила она, – вы еще, чего доброго, позвольте даже сорокам вить гнезда в церкви! Ничего-то вы не замечаете, послушать вас – все хорошо... Повезло вашей сестрице, что вы, как вышли из семинарии, взяли ее к себе! Ни отца, ни матери! Хотела бы я знать, кто, кроме вас, позволил бы ей целые дни проводить на скотном дворе?

Переменив тон, она продолжала уже более мягко:

– И то сказать, жаль, конечно, запрещать ей это. Ведь она у нас будто малое дитя. Ей и десяти лет по уму не дашь, даром что одна из самых сильных девушек в округе... Знаете, по вечерам я ее еще укладываю спать, и она требует, чтобы я рассказывала ей сказки да убаюкивала, словно ребенка.

Аббат Муре, не присаживаясь, допивал молоко. Пальцы его слегка покраснели: в столовой было холодно. В этой большой комнате с серыми крашеными стенами и выложенным плитками полом, кроме стола и стульев, не было никакой другой мебели. Теза сняла салфетку, которую было разостлала на краю стола для завтрака.

– Вы совсем не употребляете столового белья, – пробормотала она. – Посмотришь – вам будто и присесть некогда, вечно торопитесь... Ах, если бы вы знали господина Каффена, бедного покойного кюре, который был здесь до вас! Вот уж неженка! Он бы и пищи переварить не мог, если бы поел стоя... Нормандец он был, как и я, из Кантле. Ох! Не очень-то я ему благодарна, что он привез меня сюда, в эту волчью яму. Господи, как мы первое время здесь скучали! У бедного моего кюре произошли неприятности в наших краях... Как, сударь, вы даже не подсластили молока? Оба куска сахара остались!

Священник поставил чашку.

– Да, забыл, кажется, – сказал он.

Теза посмотрела ему в лицо и пожала плечами. Она сложила в салфетку ломтик ситного хлеба, также оставшийся нетронутым. А когда аббат собрался уходить, подбежала к нему, опустилась на колени и закричала:

– Обождите, у вас шнурки развязались... Никак не пойму, как вы можете ходить в этих мужицких башмаках! С виду вы такой нежный, такой избалованный!.. Видать, епископ хорошо вас знает, коли дал вам самый бедный приход в департаменте.

– Но ведь я сам выбрал Арто... – сказал священник и снова улыбнулся. – Вы что-то сегодня не в духе, Теза! Разве мы не счастливы здесь? У нас есть все, что надо, и живем мы мирно, точно в раю.

Тут она сдержалась, засмеялась сама и ответила:

– Святой вы человек, господин кюре!.. Ладно! Чем спорить, поглядите-ка лучше, какая знатная у меня стирка!

Ему пришлось отправиться с нею. Теза грозила, что не выпустит его из дому, пока он не похвалит ее работу. Выходя из столовой, он наткнулся в коридоре на кусок штукатурки.

– Это еще что такое? – удивился он.

– Пустяки, – свирепо отвечала Теза. – Просто дом церковный валится. Но, по-вашему, все хорошо: у вас есть все, что надо... О господи! Повсюду щели! Взгляните-ка на потолок! Ведь он весь растрескался! Коли нас не раздавит на этих днях, надо будет толстую свечу поставить нашему ангелу-хранителю. Но что за беда, раз вам это нравится... И в церкви то же. Еще два года назад надо было вставить там новые стекла. Зимой господь бог там мерзнет. А потом и разбойники-воробьи туда больше бы не залетали. В конце концов я заклею окна бумагой, вот увидите!

– Прекрасная мысль, – пробормотал священник, – можно будет заклеить бумагой... Ну, а стены тут толще, чем кажется. Вот только пол в моей комнате немного прогнулся возле окна. Дом этот всех нас переживет!

Под навесом, у входа в кухню, священник, желая доставить Тезе удовольствие, остановился и рассыпался в похвалах ее великолепной стирке. Однако старуха потребовала, чтобы он понюхал воду и опустил в нее пальцы. После этого она пришла в совершенный восторг и выказала настоящую материнскую заботливость. Перестав ворчать, Теза побежала за щеткой и, принеся ее, сказала:

– Уж не собираетесь ли вы выйти из дому в таком виде? На вашей рясе еще вчерашняя грязь осталась. Повесь вы ее на перила, я бы ее давно почистила... Ряса еще хоть куда. Только подбирайте ее выше, когда переходите поле, а то репейник весь подол изорвет.

Она поворачивала его, как ребенка, заставляя вздрагивать с ног до головы под яростными ударами щетки.

– Ладно, ладно, хватит, – сказал он, вырываясь. – Присмотрите за Дезире. Хорошо? Я ей скажу, что мне надо уходить.

Но в это мгновение чей-то звонкий голос крикнул:

– Серж, Серж!

Дезире вбежала, вся покрасневшись от радости, с непокрытой головой; ее черные волосы были закручены на затылке тугим узлом, руки по локоть выпачканы в навозе. Она только что чистила кур. Увидав, что брат уходит с

молитвенником под мышкой, она громко рассмеялась и принялась целовать его, закинув руки назад, чтобы не запачкать.

– Нет, нет, – лепетала она, – я тебя замараю... Ох, как мне весело! Вернешься – поглядишь на животных.

И тотчас же убежала. Аббат Муре пообещал вернуться к одиннадцати часам завтракать. Он уже совсем уходил, когда Теза, провожавшая его до порога, прокричала ему вслед последние наставления:

– Не забудьте повидаться с братом Арканжиас... Да зайдите к Брише, жена его вчера приходила, все по поводу этой свадьбы... Господин кюре, послушайте же! Я встретила Розали. Она спит и видит выйти замуж за этого верзилу Фортюне. Потолкуйте с дядюшкой Бамбусом, может, он вас теперь послушает... и не возвращайтесь в полдень, как намедни! В одиннадцать придете? В одиннадцать, ладно?

Но священник больше не оборачивался. И она вернулась домой, бормоча сквозь зубы:

– Так он меня и послушает!.. Ему нет еще двадцати шести лет, а он уж все делает по-своему! Зато в святости не уступит и шестидесятилетнему! Да ведь он и не жил еще совсем; ничего не знает! Ему и не трудно быть добродетельным, как херувиму, красавчику моему.

IV

Почувствовав, что он избавился от Тезы, аббат Муре остановился; весьма довольный, что он наконец один. Церковь была построена на невысоком холме, отлого спускавшемся к селу. Продолговатое строение с большими окнами, блестевшее красными черепицами, походило на большую заброшенную овчарню. Священник обернулся и окинул глазами свой дом – сероватую лачугу, прилепившуюся сбоку к самому храму; потом, словно боясь вновь сделаться жертвой нескончаемой болтовни, уже с утра прожужжавшей ему уши, он свернул направо и почувствовал себя в безопасности, лишь когда достиг

главного входа. Здесь его не могли заметить из церковного дома! Над лишенным всяких украшений, потрескавшимся от солнца и дождей фасадом церкви возвышалась узкая каменная башенка, внутри которой виднелся темный профиль небольшого колокола; из-под черепиц торчал конец веревки. Шесть разбитых, наполовину ушедших в землю ступенек вели к высокому полукруглому входу; разошедшаяся, вся изъеденная пылью и ржавчиной дверь была покрыта по углам паутиной; она едва держалась на полуоторванных петлях и, казалось, готова была уступить первому же порыву ветра. Аббат Муре относился к этой развалине с нежностью; он взошел на паперть и прислонился к одной из створок двери. Отсюда он мог окинуть взором всю округу. Заслонив глаза рукой, он всматривался в горизонт.

Буйная майская растительность пробивалась сквозь каменистую почву. Громадные кусты лаванды и вереска, побеги жесткой травы – все это лезло на паперть, распространяя свою темную зелень до самой крыши. Неудержимое наступление зелени грозило обвить церковь плотной сетью узловатых растений. В этот утренний час жизнь так и бурлила в природе: от земли поднималось тепло, по камням пробегала молчаливая, упорная дрожь. Но аббат не замечал этой горячей подземной работы; ему только почудилось, что ступени шатаются; он передвинулся и прислонился к другой створке двери.

На два лье вокруг горизонт замыкался желтыми холмами; сосновые рощи выделялись на них черными пятнами. То был суровый край – выжженная степь, прорезанная каменистой грядой. Только изредка, точно кровавые ссадины, виднелись клочки возделанной земли – бурые поля, обсаженные рядами тощих миндальных деревьев, увенчанные серыми верхушками маслин, изборозжденные коричневыми лозами виноградников. Слово огромный пожар пронесся здесь, осыпал холмы пеплом лесов, выжег луга и оставил свой отблеск и раскаленный жар в оврагах. Лишь порою нежно зеленевшие полосы хлебов смягчали резкие тона пейзажа. Весь горизонт, казалось, угрюмо томился жаждой, изнывая без струйки воды; при малейшем дуновении его застилала завеса пыли. Только совсем на краю цепь холмов прерывалась, и сквозь нее проглядывала влажная зелень – уголок соседней долины, орошавшейся рекой Вьорной, которая вытекала из ущелий Сей.

Священник перевел свой ослепленный взор на село; немногочисленные дома его в беспорядке лепились у подножия церкви. Жалкие, кое-как оштукатуренные каменные и деревянные домишки были разбросаны по обе стороны узкой дороги; никаких улиц не было и в помине. Всех лачуг было не больше тридцати:

одни стояли прямо среди навозных куч и совсем почернели от нищеты; другие – более просторные и веселые на вид – розовели черепицами крыш. Крохотные садики, отвоеванные у скал, выставляли свои гряды с овощами; их разделяли живые изгороди. В этот час село было пусто; у окон не видно было женщин; дети не копошились в пыли. Одни только куры ходили взад и вперед, рылись в соломе, забирались на самый порог; двери домов были распахнуты настежь, словно настойчиво приглашали солнце войти. У въезда в Арто на задних лапах сидел большой черный пес и будто сторожил селение.

Мало-помалу аббата Муре начала одолевать лень. Подымавшееся все выше солнце заливало его теплом своих лучей, и, прислонившись к церковной двери, он радовался покою и счастью. Он думал об этом селенье Арто, что выросло тут среди камней, точь-в-точь как узловатые растения здешней долины. Все крестьяне состояли между собою в родстве, все носили одну и ту же фамилию, так что с колыбели каждому давали прозвище, чтобы отличать их друг от друга. Их предок, некий Арто, пришел и обосновался в этой пустоши как пария-изгнанник; с течением времени семейство его разрослось, напоминая своей упорной живучестью окрестные травы, питавшиеся жизненными соками скал. В конце концов оно превратилось в целое племя, целую общину, между членами которой родство уже потерялось – ведь оно восходило за несколько столетий. Здесь бесстыдно вступали в кровосмесительные браки: еще не было примера, чтобы кто-либо из Арто взял себе жену из соседней деревни; девушки, правда, иногда уходили на сторону. Люди тут от рождения и до смерти ни разу не покидали родного села, они плодились и размножались на этом клочке земли медленно и просто, словно деревья, пускающие побеги там, где упало семя. У них было самое смутное представление о том, что представляет собою обширный мир, расположенный за теми желтыми скалами, среди которых они прозябали. И все-таки между ними уже были свои бедняки и богачи. Куры стали пропадать, и птичники пришлось запирать на ночь, вешая большие замки. Как-то вечером один из жителей Арто убил у мельницы другого. Так внутри этой забытой богом цепи холмов возник особый народ, раса, словно выросшая из земли, человеческое племя в три сотни душ, которое будто заново начинало историю...

На аббате Муре мертвящей тенью лежала печать духовной семинарии. Целые годы он не знал солнца; собственно, и сейчас еще он не замечал его: невидящие глаза священника неизменно созерцали душу, в них жило одно лишь презрение к греховной природе. В долгие часы благоговейной сосредоточенности, когда благочестивые размышления повергали его ниц, он грезил о житии отшельника в какой-нибудь пещере среди гор, где ничто живое – ни тварь, ни растение, ни

вода – не могло бы отвлечь его от созерцания бога. Им владел восторг чистой любви, он ужасался земных страстей. Так, в сладостном изнеможении, отвернувшись от света, он готов был дожидаться полного освобождения от суетности бытия и слияния с ослепительно светлым миром духа. Небо, казалось ему, сверкало лучезарной белизною, словно затканное белоснежными лилиями, будто вся чистота, вся непорочность, все целомудрие мира горели белым огнем. Духовник бранил Муре, когда тот рассказывал ему о своей жажде уединения, о своем стремлении достичь божественной чистоты. Он призывал его к борьбе за дело церкви, к обязанностям священнического сана. Позже, после посвящения, юный пастырь по собственному выбору прибыл в Арто. Здесь намеревался он осуществить мечту о полном уничтожении в себе всего земного. Здесь, среди нищеты, на этой бесплодной почве надеялся он уйти от мирской суеты и забыться сном праведника. И действительно, несколько месяцев Муре пребывал в безмятежности; лишь порою к нему доносился, слегка смущая его, деревенский шум да иной раз его затылок обжигал горячий луч солнца, когда он шел по тропинке, весь устремленный в небеса, глубоко чуждый зарождающейся жизни, которая кишела вокруг.

Большой черный пес, стороживший Арто, решил вскарабкаться наверх, к аббату. Он уселся на задние лапы у самых ног священника. Но тот по-прежнему ничего не замечал, погруженный в нежную сладость утра. Накануне он начал службу в честь девицы Марии и ту великую радость, что объяла его, приписывал предстательству мадонны за него пред своим божественным сыном. Сколь презренными казались ему земные блага! С какой радостью сознавал он себя бедняком! Потеряв в один и тот же день отца и мать вследствие драмы, всего ужаса которой он так и не постиг, Серж Муре, приняв священнический сан, предоставил все состояние старшему брату. Единственной связью его с миром была сестра. Он взял ее к себе, проникнувшись чем-то вроде религиозного умиления к ней за ее слабоумие. Бедная простушка была ребячлива, словно малое дитя, и казалась ему чистой, как те нищие духом, которым евангелие обещает царствие небесное. И, однако, с некоторых пор Дезире начала его тревожить. Она становилась как-то уж слишком крепкой и сильной; от нее так и веяло здоровьем. Впрочем, пока это было лишь легкое беспокойство, не более. Аббат Муре по-прежнему был весь погружен в тот внутренний мир, который он сам себе создал, отрешившись от всего остального. Он замкнул свои чувства для внешнего мира и, стараясь освободиться от всех потребностей тела, целиком отдался жизни духа, охваченный восторгом созерцания. В природе он видел лишь соблазн и грязь. Славу свою он полагал в том, чтобы попирать и презирать природу, освобождаться от земной скверны. Истинно праведный должен быть в глазах мира сего безумцем. И он смотрел на себя точно на изгнанника на земле,

помышляя лишь о благах небесных, не в силах понять, как можно класть на одну чашу весов короткие часы преходящих наслаждений, когда на другой – вечное блаженство. Разум обманывает, чувства лгут! Его преуспеяние в добродетели было исключительно плодом послушания и смирения. Он желал быть последним среди людей, находиться в подчинении у всех, дабы на сердце его, как на бесплодный песок, пала божья роса. Он считал, что живет в позоре и заблуждении, что недостоин отпущения грехов и вечного спасения. Быть смиренным – значит веровать и любить. Умертвив свою плоть, слепой и глухой ко всему, он уже не зависел более от себя самого. Он чувствовал себя просто вещью бога. И тогда молитва возносила его из самоуничужения, в какое он погружался, превыше владык и счастливцев, к сиянию блаженства без предела.

Таким-то образом аббат Муре обрел в Арто восторги монастырской жизни, которых он в былое время столь пламенно жаждал всякий раз, когда читал «Подражание Христу». Ему была еще неведома борьба с самим собою. С самого первого коленапреклонения, будто пораженный молнией благодати, без борьбы, без содроганий, в полном забвении плоти, сподобился он душевного мира. То были первые восторги слияния с богом, ведомые иным молодым священникам, та блаженная пора, когда все в человеке умолкает и желания его обращаются в безмерную потребность чистоты. Ни в одном живом существе не искал он утешения. Когда веришь, что нечто есть все, не знаешь колебаний. А он верил, что бог есть все, что его собственное смирение, послушание и целомудрие суть все. Он вспоминал, как ему говорили об искушениях, о страшных муках соблазна, которым подвержены даже самые праведные. И улыбался. Бог еще ни разу не покидал его, и он шествовал под защитой своей веры, служившей ему панцирем, предохранявшим от малейшего дуновения зла. Аббат Муре припоминал: ему было всего восемь лет, а он уже изливался в слезах от любви, прячась где-нибудь по углам; кого он любил, он не знал; он плакал от любви к кому-то очень далекому. И с тех пор он неизменно пребывал в каком-то умилении. Позднее он захотел стать аббатом, чтобы удовлетворить свою потребность в сверхчеловеческой любви: только она одна и мучила его. Он не представлял себе призвания, требующего от человека более самоотверженной любви. Оно отвечало устремлениям его натуры, его врожденным инстинктам, мечтам мужающего подростка, первым мужским желаниям. И если ему суждено было подвергнуться соблазну, он ожидал этого часа с безмятежностью неопытного семинариста. Он чувствовал, что мужчина в нем убит; ему доставляло радость сознавать, что он не такой, как все, что он на ином пути, на пути безбрачия, и отмечен тонзурой, как овца господня.

Солнце все еще продолжало нагревать церковные двери. Золотистые мушки жужжали вокруг большого цветка, пробившегося меж двух ступеней паперти. Аббат Муре собирался уже уйти – у него немного закружилась голова, – как вдруг большой черный пес с громким лаем бросился к кладбищенской решетке, по левую руку от церкви. В это же время послышался резкий голос:

– Ага, негодяй! В школу не являешься, а на кладбище торчишь!.. Не отнекивайся! Я за тобой уже четверть часа слежу.

Священник сделал несколько шагов. Он узнал Венсана. Монах из ордена христианских школ крепко держал мальчишку за ухо, и тот словно повис над тянувшимся вдоль кладбища оврагом, по дну которого бежал Маскль – прозрачный ручей, впадавший в двух лье от селения в Вьорну.

– Брат Арканжиас! – негромко молвил аббат, призывая грозного монаха к снисходительности.

Но тот не выпускал уха мальчишки.

– А, это вы, господин кюре! – проворчал он. – Представьте себе, этот негодяй вечно околачивается здесь, на кладбище! Какие пакости он тут делает, желал бы я знать?.. Мне бы следовало выпустить его, пусть себе разобьет голову там, внизу. Это было бы ему поделом.

Ребенок не проронил ни звука; он уцепился за кустарник и лукаво зажмурил глаза.

– Осторожнее, брат Арканжиас, – заметил священник, – он может соскользнуть в овраг.

И он сам помог Венсану выкарабкаться.

– Скажи-ка, дружок, что ты там делал? Кладбище – не место для игр.

Плутиска раскрыл глаза и испуганно шарахнулся от монаха, ища защиты у аббата.

– Сейчас скажу, – пролепетал он, поднимая хитрую мордашку. – Здесь, в терновнике, под этой вот скалой, – гнездо малиновки. Я его дней десять сторожу... А нынче утром птенцы вывелись, я и пришел сюда, отслужив с вами обедню...

– Ах так, гнездо малиновки? – завопил брат Арканжиас. – Ну погоди же, погоди!

Он отошел, поднял с какой-то могилы ком земли, вернулся и бросил его в кусты. Но в гнездо не попал. Вторым, более метким ударом он опрокинул хрупкую колыбельку пташек, и они свалились прямо в поток.

– Ну, теперь ты, пожалуй, перестанешь слоняться по кладбищу, как язычник, – продолжал он, отряхивая руки от земли... – Вот ночью придут мертвецы и потянут тебя за ноги, коли ты будешь шагать по их могилам.

При виде кувыркавшегося в воздухе гнезда Венсан засмеялся. Затем, оглянувшись на монаха, он пожал плечами, как человек, далекий от суеверий.

– О, я не боюсь! – сказал он. – Мертвецы ходить не могут.

И в самом деле, кладбище не казалось страшным. Это было пустое, оголенное место; узкие тропинки почти совсем заросли травой. Местами земля, казалось, горбилась и пучилась. На всем кладбище один только новый надгробный камень над могилой аббата Каффена выделялся белым прямоугольником среди обломанных крестов, сухого кустарника да старых разбитых плит, поросших мхом. В Арто хоронили раза два в год, не чаще. Этот пустырь мало походил на обиталище смерти. Теза каждый вечер приходила сюда за травой для кроликов Дезире и набивала полный передник. Гигантский кипарис, высившийся у входа, один бросал свою тень на пустынное кладбище. Кипарис этот был виден за три лье отовсюду, и все в округе называли его «Пустынником».

– Тут полным-полно ящериц, – продолжал Венсан, поглядывая на растрескавшиеся стены храма. – Можно было бы на славу позабавиться...

Он разом отскочил, заметив, что монах шагнул по направлению к нему. Брат Арканжиас обратил внимание священника на жалкое состояние кладбищенской решетки. Она вся была изъедена ржавчиной, с калитки соскочила петля, затвор сломался.

– Не худо бы все это исправить, – заметил монах.

Аббат Муре не отвечал и только улыбался. А затем обратился к Венсану, который уже возился с собакой:

– Скажи мне, малыш, не знаешь ли ты, где нынче утром работает дядюшка Бамбус?

Мальчик окинул взором горизонт.

– Должно быть, на своем поле в Оливет, – ответил он, указывая рукой влево. – Коли хотите, Ворио вас туда сведет, господин кюре! Он-то уж знает, где его хозяин.

Венсан захлопал в ладоши и крикнул:

– Эй! Ворио! Эй!

Большой черный пес с минуту колебался, шевеля хвостом и будто силясь прочесть в глазах мальчишки, что от него требуется. Потом залаял от радости и понесся к селу. Священник и монах, беседуя, следовали за собакой. А Венсан, пройдя за ними сотню шагов, потихоньку отстал и снова направился к церкви; поминутно оглядываясь, он готов был скрыться в кустарнике, если бы кто-нибудь из них повернул голову. С гибкостью ужа он опять проскользнул на кладбище, в этот рай, полный гнезд, ящериц и цветов.

Ворио бежал вперед по пыльной дороге; брат Арканжиас между тем с раздражением говорил священнику:

– Оставьте, господин кюре! Вот уж поистине чертово семя эти жабы дети! Тот, кто перебьет им ребра, сотворит угодное богу дело. Все они растут в неверии, как и отцы их росли. Пятнадцать лет я здесь, и ни одного из них христианином

не сделал. Как только ускользнут из моих рук – поминай как звали!

Они душой и телом преданы своей земле, своим виноградникам да маслинам! В церковь никто ни ногой! Точно животные – вся их жизнь в борьбе с каменистой почвой!.. Дубиной бы их, господин кюре, здоровенной дубиной!

И, переведя дух, он прибавил с угрожающим жестом:

– Видите ли, все они здесь, в Арто, вроде как чертополох, что гложет скалы! С одного корня пошел весь яд по округе. Так и цепляются, так и плодятся, так и живут наперекор всему! Хоть бы огонь с небес сошел, как на Гоморру, дабы поразить этих окаянных!

– Никогда не следует отчаиваться в спасении грешников, – возразил аббат Муре, шествовавший мелкими шажками, сохраняя душевное спокойствие.

– Нет, эти-то уж добыча дьявола! – с еще большим ожесточением продолжал монах. – Я и сам был крестьянин, как они. Копался в земле до восемнадцати лет. А потом, в монастыре, подметал полы, чистил овощи, исполнял самую черную работу. Ведь не за тяжкий труд упрекаю я их. Напротив, господь милостивее взирает на тех, чья доля низка... Но эти, в Арто, ведут себя как скоты, в этом все дело! Они подобны псам: к обедне не ходят, потешаются над заповедями божьими и над святой церковью и готовы блудодействовать со своими полосками земли – так они к ним привержены!

Ворио остановился и вновь побежал, помахивая хвостом, когда убедился, что люди следуют за ним.

– Действительно, в Арто происходят плачевные вещи, – сказал аббат Муре. – Мой предшественник, аббат Каффен...

– Жалкий человек! – перебил его монах. – Он прибыл сюда из Нормандии после какой-то скверной истории. Ну, а здесь он старался жить в свое удовольствие и ни на что не обращал внимания.

– Да нет же, аббат Каффен, без сомнения, делал все, что мог, но надо признать, что усилия его оказались почти бесплодными. Да и мои чаще всего остаются

всуе...

Брат Арканжиас пожал плечами. На минуту он замолчал и шел, раскачиваясь своим большим телом, худым, угловатым и топорным. Солнце припекало его дубленый затылок, оставляя в тени грубое и заостренное мужицкое лицо.

– Послушайте, господин кюре, – начал он снова, – не мне, ничтожному, делать вам замечания. Но я почти вдвое старше вас и хорошо знаю край, а посему считаю себя вправе сказать вам: кротостью да лаской вы ничего не добьетесь... Здесь надо держаться катехизиса, понимаете? Бог не прощает нечестивых. Он их испепеляет. Помните это!

Аббат Муре не поднимал головы и не раскрывал рта. Монах продолжал:

– Религия уходит из деревень, – слишком уж добренькой ее сделали. Ее почитали, пока она была сурова и беспощадна... Уж не знаю, чему только вас учат в семинариях. Нынешние священники плачут, как дети, вместе со своими прихожанами. Бога точно подменили... Готов поклясться, господин кюре, что вы и катехизиса наизусть не знаете!

Священник, возмущенный этой грубой попыткой воздействовать на него, поднял голову и довольно сухо произнес:

– Ну что ж, рвение ваше похвально... Но вы, кажется, хотели мне что-то сообщить. Вы ведь сегодня утром приходили ко мне, не правда ли?

Брат Арканжиас грубо ответил:

– Я хотел вам сказать то, что сейчас сказал... Жители Арто живут как свиньи. Только вчера я узнал, что Розали, старшая дочь Бамбуса, брюхата. Здешние девки только и ждут этого, чтоб выйти замуж. За пятнадцать лет я не видывал ни одной, которая не валялась бы во ржи до того, как идти под венец... Да еще смеются и утверждают, что таков-де местный обычай.

– Да, да, – пробормотал аббат Муре, – сущий срам... Я именно затем и ищу дядюшку Бамбуса: хочу поговорить с ним об этом деле. Теперь было бы желательно поспешить со свадьбой... Отец ребенка, кажется, Фортюне, старший

сын Брише. По несчастью, Брише бедны.

– Уж эта Розали! – продолжал монах. – Ей сейчас восемнадцать. А они все еще на школьной скамье развращаются. И четырех лет не прошло, как она ходила в школу. Уже тогда была порочна... А теперь у меня учится ее сестрица Катрин, девчонка одиннадцати лет. Она обещает быть еще бесстыднее, чем старшая. Ее застаешь во всех углах с негодником Венсаном... Да, хоть до крови дери им уши, – в девчонках с малых лет проявляется женщина. В юбках у них погибель живет. Кинуть бы этих тварей, эту нечисть ядовитую в помойную яму! То-то было бы знатно, кабы всех девчонок душили, едва они родятся!..

Полный отвращения и ненависти к женщинам, он ругался как извозчик. Аббат Муре слушал его с невозмутимым видом и под конец улыбнулся ярости монаха. Он подозвал Ворио, который отбежал было в сторону от дороги.

– Да вот, смотрите! – закричал брат Арканжиас, указывая пальцем на кучку детей, игравших на дне оврага. – Вот мои шалопаи! В школу они не ходят, говорят, что помогают родителям в виноградниках!.. Будьте уверены, и эта бесстыдница Катрин здесь. Ей нравится скатываться вниз. Она, верно, уж задрала свои юбки выше головы. Что я вам говорил!.. До вечера, господин кюре... Пойдите, негодяи! Погодите!

И он пустился бежать, его грязные брыжи съехали набок, широкая засаленная ряса то и дело цеплялась за репейник. Аббат Муре видел, как он набросился на ребят, а те пустились наутек, будто стая испуганных воробьев. Однако монаху удалось поймать Катрин и какого-то мальчишку; крепко ухватив детей волосатыми толстыми пальцами за уши, он потащил их в село, осыпая ругательствами.

Священник продолжал свой путь. Брат Арканжиас приводил его порой в немалое смущение. Грубость и жестокость его представлялись аббату свойствами подлинно божьего человека, лишеного земных привязанностей, беззаветно предавшегося воле божьей. Он был одновременно смирен и жесток и с пеной у рта бушевал, воюя с грехом. Кюре приходил в отчаяние, что не может окончательно отделаться от гнета плоти, стать уродливым и нечистым, источающим гной, как святые праведники. Если же иной раз монах возмущал его каким-нибудь слишком резким словом или чрезмерной грубостью, он начинал тотчас же казнить себя за излишнюю щепетильность и гордыню, усматривая в этом чуть ли не преступление. Разве не должен был он беспощадно умертвить в

себе мирские слабости? Так и на этот раз он только грустно улыбнулся, размышляя о том, что чуть было не разгневался на урок, преподанный ему монахом. «Это гордыня, – думал он, – а гордыня ведет нас к гибели, заставляя презирать малых сих». И все же аббат невольно почувствовал облегчение, когда остался один и пошел дальше тихим шагом, углубившись в чтение требника и не слыша больше резкого голоса, смущавшего нежные и чистые мечты его.

VI

Дорога вилась среди обломков скал, у которых крестьянам удалось здесь и там отвоевать четыре-пять метров меловой почвы и засадить ее маслинами. Под ногами священника пыль в колеях хрустела, как снег. Порою ему в лицо дула струя особенно теплого воздуха, и тогда он поднимал глаза от книги и озирался. Но взор его при этом блуждал: он не видел ни пылавшего горизонта, ни извилистых очертаний сухой, опаленной солнцем и словно сжигаемой страстью местности, походившей на пылкую, но бесплодную женщину. Священник надвинул шляпу на лоб, чтобы избежать горячих прикосновений ветра; он старался спокойно продолжать чтение; ряса позади него подымала облако пыли, катившееся вдоль дороги.

– Здравствуйте, господин кюре, – приветствовал его проходивший мимо крестьянин.

Стук заступов, слышавшийся с ближних участков, вновь вывел аббата Муре из сосредоточенного настроения. Он повернул голову и заметил среди виноградников несколько высоких жилистых стариков; они ему поклонились. Жители Арто среди бела дня прелюбодействовали с землею, как выражался брат Арканжиас. Из-за кустарника появлялись потные лица; медленно распрямлялись, переводя дыхание, люди – вся эта горячая оплодотворяющая сила, мимо которой он проходил спокойной поступью, ничего не замечая в своей невинности. Плоть его нисколько не смущалась картиной этого великого труда, исполненного страсти, которой дышало сверкающее утро.

– Эй, Ворио, людей кусать не годится! – весело крикнул чей-то сильный голос. Оглушительно лаявшая собака умолкла.

Аббат Муре поднял голову.

– А, Фортюне, это вы! – сказал он, подходя к краю поля, где работал молодой крестьянин. – Я как раз хотел с вами поговорить.

Фортюне был одних лет с аббатом. То был высокий, наглый с виду малый с уже огрубевшей кожей. Он расчищал участок каменистой пустоши.

– О чем это, господин кюре? – спросил он.

– О том, что произошло между Розали и вами, – отвечал священник.

Фортюне расхохотался. Должно быть, ему показалось забавным, что кюре занимают подобные вещи.

– Ну и что? – пробормотал он. – Ведь она же сама хотела. Я ее не принуждал... Тем хуже, коли дядюшка Бамбус не отдает ее за меня! Вы сами видели, его собака норвила меня сейчас укусить. Он ее на меня науськивает.

Аббат Муре собирался что-то сказать, но тут старик-крестьянин, по прозвищу Брише, не замеченный им раньше, вышел из-за куста, в тени которого полдничал с женою. Это был маленький, высохший человек смиренного вида.

– Вам теперь наврут с три короба, господин кюре! – закричал он. – Малый не прочь жениться на Розали... Люди они молодые, гуляли вместе; ничьей вины тут нет. А сколько других поступали так же и оттого не хуже жили... За нами дело не станет. Надо с Бамбусом говорить. Он презирает нас, потому что богат.

– Да, мы для него слишком бедны, – стонущим голосом произнесла старуха Брише, высокая плаксивая женщина. Она тоже встала. – У нас только и есть, что этот клочок земли, куда сам черт, должно быть, камней напихал... Хлеба от него не жди... Кабы не вы, господин кюре, совсем бы ноги протянули.

Тетка Брише была единственной на селе богомолкой. Всякий раз, причастившись, она бродила вокруг приходского дома, зная, что у Тезы для нее всегда были припасены два еще тепленьких хлебца. А иной раз она даже получала в подарок от Дезире кролика или курицу.

– Ведь это же стыд и срам, – заговорил священник. – Надо их как можно скорее обвенчать.

– Да хоть сейчас, лишь бы те согласились, – с готовностью сказала старуха, боясь лишиться постоянных подарков. – Не правда ли, Брише, мы ведь добрые христиане, господину кюре перечить не станем.

Фортюне осклабился.

– Я с полной охотой, – заявил он, – и Розали тоже... Мы с ней виделись вчера за мельницей. Мы друг на друга не в обиде, напротив. Побыли вместе, посмеялись...

Аббат Муре перебил его:

– Ладно, я поговорю с Бамбусом. Думаю, он у себя, в Оливет.

Священник собирался уже уходить, когда тетка Брише спросила его, где ее меньшей сынок Венсан, который с утра отправился служить обедню. Этому постреленку необходимы наставления господина кюре. Она провожала священника сотню шагов и все жаловалась на нищету, на то, что картофеля не хватает, что маслины схвачены морозом, а жалкие посеы вот-вот погибнут от сильной жары. Наконец, заверив аббата, что сын ее Фортюне утром и вечером читает молитвы, старуха отстала.

Теперь Ворио опередил аббата Муре. Внезапно на повороте дороги он углубился в поля. Аббату пришлось свернуть на тропинку, что вела на пригорок. Перед ним открылся Оливет; здесь лежали самые плодородные земли во всей округе. Мэру общины Арто, по прозванию Бамбус, принадлежали тут поля, засеянные хлебом, засаженные маслинами и виноградниками. Собака кинулась прямо под ноги, в юбки высокой темноволосой девушке. А та при виде священника засмеялась во весь рот.

– Отец ваш тут, Розали? – спросил у нее аббат.

– Он тут, недалеко, – ответила она, не переставая улыбаться.

И, сойдя с участка, который полола, она зашагала впереди, указывая дорогу священнику. Беременность Розали была еще мало заметна и едва угадывалась по легкой округлости стана. Она двигалась тяжелой поступью дюжей работницы; ее непокрытые черные волосы словно грива ниспадали на покрасневшую от загара шею. Руки были в зелени и пахли травой, которую она недавно полола.

- Батюшка, - кричала она - вас господин кюре спрашивает!

Розали остановилась поблизости, сохраняя на лице нахальную, бесстыжую улыбку. Жирный, круглолицый Бамбус бросил работу и, вытирая пот, весело пошел навстречу аббату.

- Готов поклясться, вы хотите говорить со мной о починке церкви, - сказал Бамбус, отряхивая с ладоней приставшую к ним землю. - Ну, нет, господин кюре, это никак невозможно. У общины нет ни гроша... Коли господь бог поставит извесь и черепицу, мы дадим каменщиков.

Собственная шутка рассмешила этого неверующего крестьянина сверх всякой меры. Он похлопал себя по бедрам, закашлялся и чуть было не задохся.

- Я пришел говорить не о церкви, - отвечал аббат Муре, - я хочу потолковать с вами о вашей дочери Розали...

- О Розали? А что она вам сделала? - спросил Бамбус, подмигивая.

Молодая крестьянка вызывающе смотрела на священника, с нескрываемым интересом переводя взгляд с его белых рук на нежную шею, явно стараясь заставить его покраснеть. Но он сохранил спокойствие и резко произнес, точно говоря о вещах, не занимавших его:

- Вы знаете, о чем я говорю, дядюшка Бамбус! Она беременна. Ее надо выдать замуж.

- Ах, вы вот о чем! - пробормотал старик с насмешливым видом. - Спасибо за посредничество, господин кюре. Вас ведь сюда Брише послали, не так ли? Тетка Брише ходит к обедне, - вот вы и руку готовы приложить, чтобы помочь ей

сынка пристроить... Понятное дело! Но только я на это не пойду. Дело не выгорит. Вот и все!

Удивленный священник начал было объяснять ему, что следует в корне пресечь скандальную историю и простить Фортюне, ибо тот готов загладить свою вину, и что честь его дочери требует немедленного замужества.

– Та-та-та, – возразил Бамбус, покачивая головой, – сколько слов! Не отдам дочки, слышите? Все это меня не касается... Фортюне – нищий, у него за душой ни гроша. Славное дело: выходит, чтобы жениться на девушке, достаточно разок с ней погулять! Ну, знаете, тогда молодежь только бы и делала, что венчалась... Нет, я, слава богу, за Розали не тревожусь. Что с ней приключилось – дело известное. От этого она ни хромой, ни горбатой не станет и выйдет замуж за кого захочет из своих земляков.

– А ребенок? – перебил его священник.

– Ребенок? А где он? Может, его еще и не будет... А если ребенок родится, тогда посмотрим.

Видя, какой оборот принимает вмешательство священника, Розали сочла нужным уткнуть в глаза кулаки и захныкать. Она даже повалилась наземь, причем стали видны ее синие чулки, доходившие выше колен.

– Замолчишь ты, сука?! – крикнул отец.

Он разъярился и выругал ее непристойными словами, а она беззвучно смеялась, не отнимая кулаков от глаз.

– Попадись ты мне только со своим молодцом, свяжу вас вместе да так и проведу перед всем честным народом... Замолчишь ты или нет? Ну, погоди, негодяйка!

Он поднял ком земли и с силою запустил в нее. Ком пролетел шага четыре, упал ей на косу, соскользнул на шею и осыпал ее пылью. Испуганная Розали вскочила на ноги, схватилась руками за голову и убежала. Это не спасло ее. Бамбус успел швырнуть ей вслед еще два кома земли: один задел ее левое плечо, другой угодил прямо в спину с такой силой, что она упала на колени.

– Бамбус! – закричал священник, вырывая из рук крестьянина пригоршню камней.

– Пустите меня, господин кюре, – сказал Бамбус. – То была мягкая земля. А надо бы в нее камнями запустить... Сразу видно, что вы девок не знаете. Их ничем не проймешь, крепкие! Мою хоть в колодезь спусти да все кости ей дубиной пересчитай – она все равно от своих мерзостей не отстанет! Но я ее стерегу и уж если поймаю!.. Впрочем, все они на один лад.

Он успокоился и отхлебнул вина из большой плоской бутылки, что нагревалась в своей плетенке от раскаленной земли. И опять захохотал.

– Был бы у меня стаканчик, господин кюре, я бы вас охотно попотчевал.

– Ну, так как же свадьба? – снова спросил священник.

– Нет, этому не бывать, надо мной смеяться станут... Розали дюжая девка! Она мужика стоит, вот оно дело-то какое! Придется нанимать батрака, если она уйдет... Потолкуем после сбора винограда. Не хочу, чтобы меня обирали, и баста! Берешь, так и давай, не правда ли?

Добрых полчаса священник продолжал уговаривать Бамбуса, толкуя о боге, приводя подходящие к случаю доводы. Но старик снова принялся за работу; он пожимал плечами, шутил и все стоял на своем. А под конец закричал:

– Слушайте, если вы у меня мешок зерна попросите, вы ведь за него денег дадите?.. А как же вы хотите, чтобы я взял да и отдал дочь задаром?

Аббат Муре ушел совсем обескураженный. Спускаясь по тропинке, он увидел под маслиной Розали; девушка играла с Ворио; они катались по земле, и пес лизал ей лицо, а она заливалась хохотом... Юбки ее разлетались во все стороны, руками она хлопала по траве и вскрикивала:

– Ты меня щекочешь, зверюга! Перестань, слышишь?

Завидев священника, она сделала вид, что краснеет, поправила юбки и опять закрыла лицо руками. Желая утешить девушку, кюре обещал ей снова

похлопотать за нее перед отцом. А пока, прибавил он, ей следует прекратить всякие отношения с Фортюне, чтобы не отягощать своего греха...

– О, теперь бояться уже нечего, – пробормотала она со своей нахальной улыбкой, – ведь все уже произошло.

Он не понял ее и принялся описывать ей ад, где развратных женщин поджаривают на медленном огне. Затем, исполнив свой долг, ушел, обретя привычную ясность духа, позволявшую ему безмятежно шагать среди грубой похоти.

VII

Утро становилось все жарче. Как только наступали первые погожие дни, солнце, словно печь, жгло и накаляло обширную котловину, образованную скалами. Аббат Муре по высоте дневного светила понял, что ему самое время возвращаться в церковный дом, если он хочет попасть туда к одиннадцати и не выводить из себя Тезы. Требник он прочел, с Бамбусом поговорил и теперь возвращался к себе, ускоряя шаги и поминутно поглядывая на церковку – серое пятно с большой черной полосой позади; эту полосу прорезал на синеве горизонта «Пустынник» – огромный кипарис, росший на кладбище. Жара убаюкивала священника; он думал о том, как бы ему побогаче убрать вечером придел святой девы: наступил месяц канона богородицы. Дорога расстилала под его ногами мягкий ковер пыли, нетронутый и ослепительно белый.

У Круа-Верта аббат собрался было перейти дорогу из Плассана в Палю. Но кабриолет, спускавшийся с холма, заставил его поспешно посторониться. И когда он, обогнув груды камней, пересекал перекресток, раздался голос:

– Серж, Серж, погоди, мой мальчик!

Кабриолет остановился, и оттуда выглянул человек. Молодой священник узнал своего дядю, доктора Паскаля Ругона. Жители Плассана, где он даром лечил бедняков, называли его просто «господин Паскаль». Хотя ему едва исполнилось пятьдесят, он был сед как лунь. Красивое и правильное лицо его, обрамленное

длинными волосами и бородой, светилось умом и добротой.

– Что это ты вздумал в эдакую жару шлепать по пыли? – весело сказал доктор, высовываясь из экипажа, чтобы пожать аббату руку. – Ты, видно, не боишься солнечного удара?

– Да не больше, чем вы, дядюшка! – отвечал священник и рассмеялся.

– Ну, меня защищает верх экипажа! А потом, больные не ждут. Умирают во всякую погоду, дружок!

И доктор пояснил, что едет к старику Жанберна, управляющему усадьбой Параду, которого ночью хватил удар. Ему сообщил об этом сосед-крестьянин, приехавший в Плассан на базар.

– Сейчас он, должно быть, уже умер, – продолжал доктор. – Но все-таки надо посмотреть... Здешние старики чертовски живучи.

Он уже замахнулся хлыстом, когда аббат Муре остановил его:

– Погодите... Который теперь час, дядюшка?

– Одиннадцать без четверти.

Аббат колебался. В ушах его уже звучал грозный голос Тезы: «Завтрак простыл». Но он решил быть храбрым и тотчас же заявил:

– Поеду с вами, дядюшка... Быть может, несчастный в последний час пожелает примириться с богом.

Доктор Паскаль не мог удержаться от смеха.

– Кто? Жанберна? – воскликнул он. – Ну, знаешь! Уж если ты этого сумеешь обратить!.. Впрочем, пожалуй, поедем. Взглянув на тебя, он, чего доброго, сразу выздоровеет.

Священник сел в экипаж. Доктор, как видно, пожалел о своей шутке и теперь как-то особенно старательно погонял лошадь. Легонько щелкая языком, он искоса не без любопытства поглядывал на племянника с проницательным видом ученого, делающего наблюдения. Обмениваясь с аббатом короткими фразами, он добродушно расспрашивал его о жизни, о привычках, о спокойствии и счастье, какими тот, надо думать, наслаждается в Арто. Получая удовлетворительный ответ, он словно про себя бормотал успокоенным тоном:

- Ну вот, тем лучше! И превосходно!..

Особенно он выпрашивал племянника о здоровье. Тот несколько удивлялся и уверял, что чувствует себя прекрасно, что у него не бывает ни головокружений, ни тошноты, ни головной боли.

- Превосходно, превосходно, - повторял доктор. - Весной, знаешь ли, кровь бурлит. Но ты-то крепкого сложения... Кстати, в Марселе я виделся прошлый месяц с твоим братом Октавом. Он едет в Париж и уж, наверное, займет там прекрасное положение в мире высокой коммерции. Ах, молодец! Вот кто умеет жить!

- Как же он живет? - наивно спросил священник.

Вместо ответа доктор только прищелкнул языком. А потом продолжал:

- Ну, там все здоровы. Тетка Фелисите, твой дядя Ругон и другие... Это не мешает нам нуждаться в твоих молитвах. Ты ведь единственный праведник в семье, дружок; я рассчитываю на тебя - ты один спасешь всю компанию!

Он засмеялся, но так дружелюбно, что и сам Серж начал шутить.

- Ведь есть в нашем роду, - продолжал доктор, - и такие, которых не так-то легко провести в рай! Ты бы многого наслушался от них на исповеди, приди они к тебе все подряд. Что касается меня, я их и без того знаю, я непрестанно за ними слежу; списки их деяний хранятся у меня вместе с гербариями и моими медицинскими заметками. Когда-нибудь можно будет воссоздать славную картину их жизни... Поживем - увидим!

Охваченный юношеским энтузиазмом к науке, он на минуту забылся. Но тут взор его упал на рясу племянника, и старик осекся.

– Вот ты сделался священником, – пробормотал он, – и прекрасно поступил. Священники – счастливые люди. Ты ведь весь отдался этому, не правда ли? И переменялся к лучшему... Да, ничто другое тебя и не могло бы удовлетворить! Родственники твои в молодости немало грешили. Они и до сих пор еще не успокоились... Во всем есть свой смысл, дружок! Кюре отлично дополняет нашу семью. Впрочем, к этому шло. Наша порода не могла без этого обойтись... Тем лучше для тебя. Ты счастливее остальных.

Но тут он странно улыбнулся и поправился:

– Нет, счастливее всех твоя сестра Дезире!

Он засвистал и взмахнул кнутом; разговор оборвался. Кабриолет, въехав на высокий и довольно крутой пригорок, катился теперь среди пустынных ущелий. Потом потянулась разбитая дорога, она шла по плоскогорью вдоль высокой, бесконечной стены. Селение исчезло из виду; вокруг расстилалась пустынная равнина.

– Мы подъезжаем, не так ли? – спросил священник.

– Вот и Параду, – отвечал доктор и показал на стену. – Разве ты еще никогда здесь не был? Отсюда до Арто меньше одного лье... Вот, должно быть, превосходное было поместье это Параду! Стена парка с этой стороны тянется километра на два. Но вот уже сто лет парк находится в полном запустении.

– Какие прекрасные деревья! – заметил аббат и поднял голову, восхищаясь массой зелени, которая свисала из-за стены.

– Да, уголок весьма плодородный. Здешний парк – настоящий лес, окруженный голыми скалами... Кстати, отсюда берет начало Маскль. Мне говорили, что у него три или четыре истока.

В нескольких словах, то и дело отвлекаясь, он рассказал племяннику историю Параду – ту легенду, которая бытовала в этих краях. Во времена Людовика XV

некий вельможа построил тут великолепный дворец с громадными садами, водоемами, искусственными потоками, статуями – настоящий маленький Версаль, затерянный среди скал под палящим солнцем юга. Но только одно лето провел он здесь вдвоем с восхитительно красивой женщиной, которая, видимо, тут и умерла: никто, по крайней мере, не видал, чтобы она отсюда уехала. А на следующий год дворец сгорел, ворота парка были наглухо заколочены, даже бойницы в стенах засыпал песок. И с той отдаленной поры ничей взор не проникал в этот огромный загороженный парк, занимавший почти целиком одно из высоких плоскогорий в Гарригах.

– Крапивы там, должно быть, не оберешься... – рассмеялся аббат Муре. – Вдоль всей стены пахнет сыростью, вы не находите, дядюшка?

И, помолчав, добавил:

– А кому сейчас принадлежит Параду?

– Право, не знаю, – отвечал доктор. – Владелец имения приезжал сюда лет двадцать назад. Однако он так испугался этого обиталища змей, что больше не показывался... Настоящий хозяин здесь – страж поместья, старый чудак Жанберна; он ухитрился обосноваться в одном из каменных павильонов, стены которого еще не развалились... Вон, видишь эту серую лачугу с большими окнами, скрытыми плющом?

В это время кабриолет проезжал мимо великолепной решетки, совсем порывшей от ржавчины и обложенной изнутри кирпичной кладкой. Во рвах чернели кусты терновника. В сотне метров от дороги стоял павильон – жилище Жанберна. Строеньице примыкало к парку одним из своих фасадов. Но с этой стороны хозяин, по-видимому, забаррикадировал свое жилище; он разбил небольшой сад, выходивший на дорогу, и жил себе лицом на юг, спиной к Параду, словно и не подозревал о существовании буйной растительности позади своего дома.

Молодой священник соскочил на землю и оглядывался кругом с большим любопытством. Он спросил своего дядю, поспешно привязывавшего лошадь к кольцу, вделанному в стену.

– Неужели старик живет в этой глухой дыре совсем один?

– Да, совершенно один, – отвечал доктор Паскаль.

Впрочем, он тут же поправился:

– При нем живет племянница, оказавшаяся на его попечении. Забавная девушка, совсем дикарка!.. Но поторопимся! В доме как будто все вымерло.

VIII

Дом с закрытыми ставнями словно дремал под полуденным солнцем. Крупные мухи, жужжа, ползали по плющу до самых черепиц. В залитой солнечными лучами развалине, казалось, царили мир и благоденствие. Доктор толкнул калитку, которая вела в садик, окруженный высокой живой изгородью. В тени, отброшенной стеною, Жанберна, выпрямившись во весь свой высокий рост, преспокойно курил трубку и молча глядел, как пробиваются из земли его овощи.

– Как, вы на ногах, старый шутник! – воскликнул озадаченный доктор.

– А вы небось приехали меня хоронить? – сердито проворчал старик. – Мне никого не нужно. Я сам пустил себе кровь...

Увидя священника, он круто оборвал фразу и сделал такой свирепый жест, что доктор Паскаль поспешил вмешаться.

– Это мой племянник, – сказал он, – новый кюре из Арто, славный малый... Черт побери! Мы приехали по такой жаре не за тем, чтобы слопать вас живьем, почтеннейший Жанберна!

Старик немного успокоился.

– Мне здесь блаженные не нужны, – пробормотал он. – От них и на самом деле околеешь! Слышите, доктор! Ни лекарств, ни священников, когда я соберусь на тот свет! Иначе мы поссоримся... Ну, этот пусть уж войдет, коли он ваш племянник.

Аббат Муре в смятении не мог вымолвить ни слова. Он стоял посреди аллеи и смотрел на эту странную фигуру, на этого пустынного с кирпичного цвета лицом, изборожденным морщинами, с сухими, жилистыми руками; этот восьмидесятилетний старец, по-видимому, относился к жизни с каким-то ироническим пренебрежением. Когда доктор попытался было пощупать у него пульс, старик снова рассердился:

– Оставьте меня в покое! Я вам уже сказал, что пустил себе кровь ножом! Незачем больше об этом говорить... Какой это дурак-мужик вас побеспокоил? Лекарь, священник, только могильщика недостает! Впрочем, чего еще ждать от людей, от этих глупцов! А не распить ли нам лучше бутылочку?

Он поставил флягу и три стакана на расшатанный стол, отодвинутый им в тень. Наполнив стаканы до краев, он предложил чокнуться. Гнев его растаял и сменился насмешливой веселостью.

– Не отравитесь, господин кюре! – сказал он. – Выпить стаканчик доброго вина – не грех... Вот и я, скажем, первый раз на своем веку чокаюсь с духовной особой, не в обиду будь вам сказано. Этот бедняга, аббат Каффен, ваш предшественник, не решался вступить со мною в спор... Боялся!

Старик захохотал и добавил:

– Представьте себе, он задался целью доказать мне, что бог существует... Зато уж и я задираю его всякий раз, как встречу. А он, бывало, заткнет уши и давай тягу.

– Как, по-вашему, бога нет? – воскликнул аббат Муре, выходя из оцепенения.

– О, это как вам будет угодно, – насмешливо возразил Жанберна. – Мы возобновим как-нибудь разговор на эту тему, ежели вам захочется... Только предупреждаю вас, меня не собьешь. У меня наверху, в комнатухе, не одна тысяча томов, спасенных от пожара в Параду. Все философы восемнадцатого века, целая куча книг о религии. Много хорошего я в них почерпнул. Я их читаю уже лет двадцать... Ах, прах побери, вы найдете во мне опасного собеседника, господин кюре!

Он встал. Широким жестом показал на горизонт, на небо, на землю и несколько раз торжественно повторил:

- Ничего нет, ничего, ничего!.. Задуйте солнце - и всему конец.

Доктор Паскаль слегка подтолкнул локтем аббата Муре. Сощурился глазами и одобрительно покачивая головой, чтобы раззадорить старика, доктор с любопытством наблюдал за ним.

- Так, значит, почтеннейший Жанберна, вы материалист? - спросил он.

- Эх, я всего лишь бедняк, - ответил старик, разжигая трубку. - Когда граф де Корбьер, которому я доводился молочным братом, упал с лошади и разбился, его наследники послали меня сторожить этот парк Спящей Красавицы, чтобы от меня отделаться. Было мне тогда лет шестьдесят, человек я был, как говорится, конченый. Но смерть меня, видно, забыла. Вот и пришлось мне устроить себе здесь берлогу... Видите ли, когда живешь в одиночестве, начинаешь как-то по-особенному глядеть на мир. Деревья больше уже не деревья, земля представляется живым существом, камни начинают рассказывать всякие истории. Все это глупости, конечно! Но я знаю такие тайны, что они бы вас просто ошеломили. И то сказать, что, по-вашему, делать в этой чертовой пустыне? Я больше люблю книги читать, чем охотиться... Граф, который богохульствовал как язычник, часто говаривал мне: «Жанберна, дружище, я очень рассчитываю встретиться с тобой в аду; и там ты послужишь мне, как и здесь служил».

Он снова обвел широким жестом горизонт и произнес:

- Слышите: ничего нет, ничего!.. Все это только фарс.

Доктор Паскаль рассмеялся.

- Прекрасный фарс, во всяком случае, - сказал он. - Вы, почтеннейший Жанберна, притворщик! Я подозреваю, что вы влюблены, несмотря на свой разочарованный вид. Вы только что говорили с такой нежностью о деревьях и камнях.

– Да нет, уверяю вас, – пробормотал старик, – все это в прошлом. Правда, в былое время, когда мы только познакомились и вместе собирали травы, я был настолько глуп, что многое любил в природе... Только лгунья она большая, ваша природа! Ну, по счастью, книги убили во мне эту слабость... Мне бы хотелось, чтобы мой сад был еще меньше; а на дорогу я и двух раз в год не выхожу. Видите эту скамью? На ней-то я и провожу целые дни, глядя, как растет салат.

– А ваши прогулки по парку? – прервал его доктор.

– По парку? – проговорил Жанберна с видом глубокого изумления. – Да уж больше двенадцати лет ноги моей там не было! Что мне там делать, по-вашему, на этом кладбище? Оно чересчур велико. Какая несуразность: бесконечные деревья, повсюду мох, сломанные статуи, ямы, в которых, того и гляди, сломаешь себе шею... Последний раз, как я там был, под листвою деревьев было так темно, от диких цветов шел такой одуряющий запах, а по аллеям проносилось такое странное дуновение, что я даже как будто испугался. И я отгородился здесь, чтобы парк не вздумал войти ко мне!.. Солнечный уголок, грядка-другая латука да высокая изгородь, скрывающая горизонт, – много ли нужно человеку для счастья! А мне ничего не нужно, ровнехонько ничего! Было бы только тихо и чтобы внешний мир ко мне не проникал. Метра два земли, пожалуй, чтобы после смерти лежать кверху брюхом, вот и все!

Он ударил кулаком по столу и, внезапно повысив голос, крикнул, обращаясь к аббату:

– А ну, еще глоток, господин кюре! Дьявола на дне бутылки нет, уверяю вас!

Аббату стало не по себе. Он признавал себя бессильным обратиться к богу этого странного старика, показавшегося ему сумасшедшим. Теперь ему припомнились рассказы Тезы о некоем «философе» – так окрестили Жанберна крестьяне Арто. Обрывки скандальных историй всплыли в его памяти. Священник поднялся и сделал доктору знак, что хочет поскорее покинуть дом, где, ему казалось, он вдыхает отравленный воздух гибели. Однако к чувству смутного страха примешивалось странное любопытство, и он задержался, затем прошел в конец садика и заглянул в сени дома, будто желая проникнуть взором туда, дальше, по ту сторону стены. Двери дома были распахнуты, и за ними ничего, кроме клетки с черной лестницей, не было видно. Священник вернулся назад, разглядывая по пути, нет ли какого-нибудь отверстия или просвета туда, на этот океан листвы, соседство которого чувствовалось по громкому шелесту, напоминавшему ропот

волн, ударяющихся о стены дома.

– А как поживает малютка? – осведомился доктор, берясь за шляпу.

– Недурно, – отвечал Жанберна. – Ее никогда не бывает дома. Она всегда исчезает на целое утро... Но, быть может, все-таки она сейчас наверху.

Старик поднял голову и крикнул:

– Альбина! Альбина!

Затем, пожимая плечами, проговорил:

– Ну, вот! Она у меня известная шалунья!.. До свиданья, господин кюре! Всегда к вашим услугам.

Но аббат Муре не успел ответить на вызов деревенского философа. В глубине сеней внезапно отворилась дверь. На черном фоне стены показался ослепительный просвет. То было словно видение какого-то девственного леса, точно гигантский бор, залитый потоками солнца... Видение это промелькнуло, как молния, но священник даже издали ясно различил отдельные подробности: большой желтый цветок посреди лужайки, каскад воды, падавший с высокой скалы, громадное дерево, сплошь усеянное птицами. Все это будто затонуло и затерялось, пламенея среди такой буйной зелени, такого разгула растительности, что казалось – весь горизонт цветет. Дверь захлопнулась, все исчезло.

– Ах, негодница! – вскричал Жанберна. – Она опять была в Параду.

Альбина, смеясь, стояла на пороге дома. На ней была оранжевая юбка, большой красный платок был повязан сзади у талии, и это придавало ей сходство с разрядившейся в праздник цыганкой. Продолжая смеяться, она запрокинула голову; грудь ее так и вздымалась от радости. Она радовалась цветам, буйным цветам, которые вплела в свои белокурые косы, повесила на шею, прикрепила к корсажу, несла в своих позолоченных солнцем худеньких руках. Вся она была точно большой букет, издававший сильный аромат.

– Нечего сказать, хороша! – проворчал старик. – Ты так пахнешь травой, что можно очуметь... Ну, кто поверит, что этой стрекозе шестнадцать лет!

Альбина продолжала смеяться с самым дерзким видом. Доктор Паскаль, большой ее друг, позволил девушке поцеловать себя.

– Ты, значит, не боишься Параду, а? – спросил он у нее.

– Бояться! Но чего? – сказала она и сделала удивленные глаза. – Стены высокие, через них не перебраться... Я там одна. Это мой сад – только мой! А до чего он велик! Кажется, ему нет конца.

– А звери? – перебил ее доктор.

– Звери? Они вовсе не злые и хорошо меня знают.

– Но ведь под деревьями темно?

– Да что вы! Это просто тень; не будь ее, солнце сожгло бы мне лицо... А в тени, под листьями, так хорошо!

Она вертелась и наполняла садик своими разлетающимися юбками, распространяя вокруг острый запах украшавшей ее зелени. Она улыбнулась аббату Муре, совсем не дичась и ни чуточки не смущаясь, что он смотрит на нее изумленным взглядом. Священник отошел в сторону. Эта белокурая девушка с продолговатым, исполненным жизни лицом показалась ему таинственной и соблазнительной дочерью леса, промелькнувшего на миг перед его глазами в сиянии солнечных лучей.

– Послушайте, у меня есть гнездо дроздов, хотите, я вам его подарю? – спросила Альбина у доктора.

– Нет уж, благодарю, – ответил он, смеясь. – Лучше подари его сестрице господина кюре, – она очень любит животных... До свиданья, Жанберна!

Но Альбина пристала к священнику:

– Вы ведь кюре из Арто, не правда ли? У вас есть сестра? Я приду к ней как-нибудь... Только не говорите со мной о боге. Дядюшка не велит.

– Ты нам надоела, ступай! – сказал Жанберна и пожал плечами.

Альбина прыгнула, как козочка, и исчезла, осыпав их целым дождем цветов. Слышно было, как хлопнула дверь, потом по ту сторону дома раздался звонкий смех; сначала громкий, он постепенно замирал вдали, будто какое-то дикое животное галопом уносило девушку по траве.

– Увидите, в конце концов она начнет ночевать в Параду, – пробормотал старик своим безразличным тоном.

И, провожая гостей, он добавил:

– Коли вы в один прекрасный день найдете меня мертвым, окажите мне, пожалуйста, услугу: бросьте мое тело в навозную яму, что за грядами салата... Всего доброго, господи!

Он опустил деревянный засов, которым запиралась калитка. Под лучами полуденного солнца дом вновь принял счастливый и покойный вид. Над ним жужжали крупные мухи и продолжали ползать по плющу до самой черепичной кровли.

IX

Между тем кабриолет снова покотился по разбитой дороге вдоль бесконечной стены Параду. Аббат Муре молчал и, подняв глаза, следил за мощными ветвями, которые высывались из-за стены, точно руки спрятавшихся там гигантов. Из парка доносился шум: шелест крыльев, трепет листьев, треск веток, ломавшихся под чьими-то прыжками, вздохи гнувшихся молодых побегов, – точно дыхание жизни проносилось по верхушкам древесной чащи. Порою, когда крик какой-нибудь птицы напоминал смех человека, аббат отворачивался с некоторым беспокойством.

– Забавная девчонка! – говорил доктор Паскаль, немного отпустив вожжи. – Ей было девять лет, когда она попала к этому язычнику. Брат Жанберна разорился, уж не знаю там отчего. Малютка воспитывалась где-то в пансионе, когда отец ее покончил с собой. Была она уже настоящей барышней, весьма ученой: читала, вышивала, умела болтать и брэнчала на фортепьяно. И кокетка же была! Я видел, как она приехала в ажурных чулочках, в вышитых юбочках, в воротничках, манжетках, вся в оборочках... Да, нечего сказать! Надолго хватило этих оборочек!

Он стал смеяться. Кабриолет наехал на большой камень и чуть не опрокинулся.

– Недостает только, чтобы у моей таратайки колесо сломалось. Экая омерзительная дорога! – пробормотал он. – Держись крепче, милый!

Стена все еще тянулась. Священник прислушивался.

– Понимаешь, – снова заговорил доктор, – Параду с его солнцем, камнями, чертополохом может за один день целый туалет извести. В три-четыре приема он поглотил все прекрасные платица девочки. Она возвращалась из парка чуть не голой... Ну, а теперь одевается точно дикарка. Сегодня она еще была в сносном виде. А иной раз на ней только башмаки да рубашка, и ничего больше... Ты слышал? Весь Параду ей принадлежит. Как только приехала, на другой же день завладела им. И живет там! Закроет Жанберна дверь, она выскакивает в окно; всегда ухитряется ускользнуть и бродит себе неизвестно где. Она там всякую дыру знает... И делает в этом пустынном парке все, что ей в голову взбредет.

– Послушайте-ка, дядюшка, – прервал его аббат Муре. – Мне чудится, будто за этой стеной бежит какое-то животное.

Доктор Паскаль прислушался.

– Нет, – сказал он после паузы, – это коляска стучит по камням... Ну, понятно, девочка разучилась теперь брэнчать на фортепьяно. Да и читать, я думаю, тоже. Представь себе барышню, которую отпустили на каникулы на необитаемый остров, и она превратилась в совершенную дикарку. Ничего-то у нее не осталось от прежнего, кроме кокетливой улыбочки, когда она захочет ею щегольнуть... Да, если тебе когда-нибудь поручат заботу о девице, не советую доверять ее

воспитание Жанберна. У него весьма примитивная метода: все предоставлять природе. Случилось мне как-то беседовать с ним об Альбине: он мне ответил, что не следует мешать деревьям расти на приволье. Он-де, говорит, сторонник нормального развития темперамента... Как бы то ни было, оба они интересные типы! Всякий раз, когда мне приходится бывать в этих местах, я заглядываю к ним.

Но вот кабриолет выехал из выбоины на ровное место. Здесь стена Параду загибалась, теряясь из виду где-то вдали, на гребнях холмов. В то мгновение, когда аббат Муре повернул голову и бросил последний взгляд на серую ограду, непроницаемая строгость которой в конце концов начала необъяснимо раздражать его, – в это самое мгновение послышался шум, точно кто-то сильно потряс ветви деревьев, и над стеною несколько молодых березок приветственно закивали вслед проезжающим.

– Ведь я же знал, что какое-то животное бежало за нами! – сказал священник.

Однако никого не было видно, только все яростнее раскачивались в воздухе березки... И вдруг раздался звонкий голос, прерываемый взрывами смеха:

– До свидания, доктор! До свидания, господин кюре!.. Я целую дерево, а дерево отправляет вам мои поцелуи.

– Эге, да это Альбина, – сказал доктор Паскаль. – Она бежала за нашей коляской. Этой маленькой лесной фее ничего не стоит прыгать по кустам!

В свою очередь, он закричал:

– До свидания, малютка!.. До чего ж ты выросла, коли можешь кланяться через стену.

Тут смех усилился, березы наклонились еще ниже, и с них на верх коляски полетели листья.

– Я ростом с эти деревья, а падающие листья – мои поцелуи!

Голос ее по мере удаления казался столь мелодичным, он был так овеян дыханием парка, что молодой священник весь задрожал.

Дорога становилась лучше. Внизу, на дне выжженной солнцем равнины, показалось Арто. Кабриолет выехал на перекресток; аббат Муре не позволил своему дяде отвезти его к приходскому дому. Он соскочил на землю и сказал:

- Нет, спасибо, лучше я пройду пешком, мне это полезно.

- Как тебе угодно, - ответил доктор.

И, пожимая ему руку, добавил:

- Н-да! Если бы все твои прихожане походили на этого дикаря Жанберна, тебе не часто приходилось бы беспокоиться. В конце концов ты сам захотел навестить его... Ну, будь здоров! Как только что-нибудь заболит, посылай за мною - все равно, хоть днем, хоть ночью. Ты ведь знаешь: всю нашу семью я лечу бесплатно... Прощай, дружок!

Х

Когда аббат Муре вновь остался один посреди пыльной дороги, он почувствовал некоторое облегчение. Каменистые поля возвращали его, как всегда, к мечте о суровой и сосредоточенной жизни в пустыне. Там, на дороге, вдоль стены, с деревьев доносилась беспокойная свежесть и обвевала ему затылок, а сейчас палящее солнце все это высушило. Тощие миндальные деревья, скудные хлеба, жалкие лозы по обе стороны тропы действовали на аббата умиротворяюще, отгоняя тревогу и смятение, в которые было ввергли его слишком пышные ароматы Параду. В ослепительном свете, проливавшемся с небес на эту голую землю, даже кощунство Жанберна словно растаяло, не оставив за собой и тени. Он испытал живейшую радость, когда поднял голову и заметил на горизонте неподвижную полосу «Пустынника» и розовое пятно церковной кровли.

Но по мере того как аббат приближался к дому, его охватывало беспокойство иного рода. Как-то встретит его Теза? Ведь завтрак уже простыл, дожидаясь его

добрых два часа. Аббат представил себе ее грозное лицо и поток гневных слов, которые она на него обрушит, а затем – он знал это – до конца дня не утихнет раздражающий стук посуды. И когда он проходил по селенью, его обуял такой страх, что он малодушно остановился, раздумывая, не благоразумнее ли будет обойти кругом и возвратиться домой через церковь. Но пока он размышлял, Теза собственной персоной появилась на пороге приходского дома. Она стояла, сердито подбоченившись, и чепец съехал у нее набок. Аббат сгорбился, ему пришлось взбираться на пригорок под этим чреватым грозой взглядом, от которого, чувствовал он, плечи его гнутся долу.

– Кажется, я опоздал, любезная Теза? – пролепетал он на последнем повороте тропинки.

Теза ждала, чтобы он подошел к ней вплотную. И тогда она свирепо посмотрела на него в упор, а затем, не говоря ни слова, повернулась и зашагала впереди священника в столовую, топоча каблуками так сердито, что даже хромать почти перестала.

– У меня было столько дел! – начал священник, напуганный этой немой встречей. – С утра я все хожу...

Она пресекла лепет аббата, снова кинув на него разъяренный и пристальный взгляд. У него подкосились ноги. Он сел и принялся есть. Теза подавала ему, двигаясь точно автомат, и так стучала тарелками, что угрожала их все перебить. Молчание становилось столь невыносимым, что священник от волнения едва не подавился на третьем глотке.

– А сестра уже поела? – спросил он. – И хорошо сделала. Когда я задерживаюсь, надо всегда завтракать без меня.

Ответа не последовало. Теза, стоя, ждала, пока он опорожнит тарелку. Но он чувствовал, что не может есть под уничтожающим взглядом этих безжалостных глаз. Он отодвинул прибор. Этот несколько раздраженный жест подействовал на Тезу как удар хлыста и тотчас же вывел ее из состояния молчаливого ожесточения. Она взорвалась.

– Ах вот как! – закричала она. – Вы же еще и сердитесь! Ну что ж, я ухожу! Дайте мне денег на проезд домой. Хватит с меня вашего Арто, вашей церкви! Все мне

здесь осточертело!

Дрожащими от гнева руками она сняла передник.

– Вы отлично видели, что я не хотела разговора... Но разве это жизнь? Так, господин кюре, поступают одни только скоморохи! Что ж, теперь одиннадцать часов, не так ли? И не стыдно вам? Два часа, а вы еще из-за стола не встали! Не по-христиански это, нет, совсем не по-христиански!

Она подошла и остановилась прямо перед ним.

– Откуда это вы, в конце концов, явились? С кем виделись? Что у вас за дела такие?.. Будь вы ребенок, вас бы висечь стоило. Ну, сами скажите, разве пристало священнику тащиться по дороге, по солнцепеку, будто вы бездомный нищий... Нечего сказать, хороши! Башмаки запылились, рясы под пылью не видать! Кто вам ее будет чистить, вашу рясу? Кто вам купит новую?.. Да говорите же, что вы там делали? Право слово, кто вас не знает, может что угодно подумать... Сказать вам правду? Да я бы и сама сейчас не поручилась за то, что вы себя достойно вели. Коли уж вы завтракаете в такой поздний час, стало быть, на все способны.

Аббату Муре полегчало, и он ждал, пока уляжется буря. В гневных словах старой служанки он находил для себя известного рода нервную разрядку.

– Прежде всего, добрая моя Теза, – сказал он, – наденьте-ка свой передник.

– Нет, нет, – продолжала она кричать, – дело решенное: я от вас уйду!

Но он, встав с места, рассмеялся и принялся завязывать ей передник на талии. Служанка отбивалась и бормотала:

– Говорю вам: нет и нет!.. О, какой вы хитрец! Всю игру вашу насквозь вижу! Задобрить меня хотите сахарными словечками!.. Скажите сперва, где вы были? А там увидим...

Он снова уселся за стол, весьма довольный тем, что остался победителем.

– Прежде всего, – возразил он, – позвольте мне поесть... Я умираю с голоду.

– Еще бы! – проворчала она, разжалобившись. – Ну, разве можно поступать так неразумно?.. Хотите, я сварю вам еще два яйца? Это одна минута. Ну, коли вам довольно... И все ведь остыло! А я так старалась, готовила баклажаны! Хороши они теперь, нечего сказать, вроде старых подошв... Счастье, что вы не лакомка, не то что этот бедняга, покойный господин Каффен... Да, у вас есть свои достоинства, отрицать не буду!

Она прислуживала ему с материнской нежностью и не переставая болтала. А когда он откушал, побежала на кухню взглянуть, не простыл ли кофе. Теперь она забылась от радости, что наступило примирение, и вновь начала страшно хромать. Обыкновенно аббат Муре избегал кофе: этот напиток действовал на него слишком возбуждающе. Но ради такого случая, чтобы скрепить мир, он взял принесенную ему чашку. Он задумался было на мгновение, а Теза села напротив него и повторяла тихонько, как женщина, изнывающая от любопытства:

– Куда ж это вы ходили, господин кюре?

– Куда? – ответил он и улыбнулся. – Я видел Брише, беседовал с Бамбусом...

И ему пришлось рассказать, что говорили Брише, на что решился Бамбус, и какое у кого было выражение лица, и на каком участке кто работал. Узнав об ответе отца Розали, Теза воскликнула:

– А то как же! Ведь если умрет ребенок, так и беременность будет не в счет!

И, сложив руки, с завистливым восхищением продолжала:

– Досыта, видно, наговорились там, господин кюре! Полдня убили на то, чтобы добиться такого славного решения!.. А домой, должно быть, шли тихо-тихо? Чертовски жарко, наверное, в поле?

Аббат, уже вставший из-за стола, ничего не ответил. Он хотел было заговорить о Параду, кое-что разузнать... Но из боязни, что Теза начнет его слишком настойчиво расспрашивать, и, пожалуй, еще из какого-то смутного чувства

стыда, в котором он сам себе не признавался, он решил лучше умолчать о визите к Жанберна. И, чтобы положить конец дальнейшим расспросам, в свою очередь спросил:

- А где сестра? Что-то ее не слышать...

- Идите сюда, господин кюре, - сказала Теза, засмеялась и приложила палец к губам.

Они вошли в соседнюю комнату, по-деревенски обставленную гостиную, оклеенную выцветшими обоями с крупными серыми цветами; меблировка ее состояла из четырех кресел и диванчика, обитых грубой материей. Дезире спала на диване, вытянувшись во весь рост и подперев голову обоими кулаками. Юбки ее свесились и открывали колени; закинутые, голые до локтя руки обрисовывали мощные линии бюста. Она шумно дышала; сквозь полуоткрытые румяные губы виднелись ровные зубы.

- Ох! И спит же она! - пробормотала Теза. - По крайней мере, она не слыхала тех глупостей, что вы мне сейчас кричали... Ну и сильно же она устала, должно быть! Вообразите, она чистила своих зверушек до самого полудня... Позавтракала и тотчас же повалилась как убитая. С тех пор ни разу не шевельнулась.

Священник с нежностью поглядел на сестру.

- Пусть себе спит, сколько спится, - сказал он.

- Разумеется... Какое несчастье, что она такая простушка! Посмотрите-ка на эти полные руки! Всякий раз, как я ее одеваю, я думаю, какая бы из нее вышла красивая женщина! Что и говорить, знатных племянничков подарила бы она вам, господин кюре!.. Не находите ли вы, что она похожа на ту большую каменную даму, что стоит в Плассане, у хлебного рынка?

Она говорила о статуе Кибелы, возлежащей на снопах, изваянной одним из учеников Пюже на фронтоне рынка. Аббат Муре, не отвечая, полегоньку выпроводил ее из гостиной, приказав шуметь как можно меньше. Вплоть до вечера в доме священника царило полное безмолвие. Теза заканчивала под навесом стирку. Кюре сидел в глубине небольшого сада, уронив требник на

колени и погрузившись в благочестивое созерцание. А цветущие персиковые деревья медленно осыпали свои розовые лепестки.

XI

Часов в шесть вечера наступило внезапное пробуждение. Хлопанье то открывавшихся, то затворявшихся дверей и раскаты громкого смеха вдруг потрясли весь дом. Появилась Дезире с распущенными волосами, с голыми до локтей руками и закричала:

– Серж, Серж!

Заметив, что брат в саду, она подбежала к нему, присела на землю у его ног и стала упрашивать:

– Ну, посмотри же на моих зверушек!.. Ты ведь еще не видел их, скажи? Если бы ты знал, какие они теперь хорошенькие!

Аббат заставил себя долго просить. Он немного побаивался скотного двора. Но при виде слез на глазах Дезире уступил. Тогда она бросилась к нему на шею, обрадовавшись, как щенок, смеясь больше прежнего и даже не вытерев слез с лица.

– Ах, как ты мил! – лепетала она, таща его за собой. – Ты увидишь кур, кроликов, голубей и уток; я им дала свежей воды; и козу, у нее комнатка сейчас такая же чистенькая, как моя собственная... Ты знаешь, у меня уже три гуся и две индюшки. Идем скорее, ты сам все увидишь.

Дезире было двадцать два года. Она выросла у кормилицы, крестьянки из деревни Сент-Этроп; детство ее протекало в полном смысле слова среди навоза. Мозг ее не был обременен никакими серьезными мыслями; тучная земля, солнце и воздух привели к тому, что развивалось только ее тело, и она превратилась в красивое животное; вся она была свежая и белая, как говорится, кровь с молоком. Дезире походила на породистую ослицу, наделенную даром смеха. Хотя с утра до вечера она рылась в грязи, у нее сохранились тонкие линии стана

и стройные ноги; в ее девственном теле жило изящество горожанки. При всем том она была совершенно особым существом: ни барышня, ни крестьянка, девушка, вскормленная землей, с роскошными плечами и небольшим лбом юной богини.

Без сомнения, с животными ее сближала именно скудость ума. Только с ними Дезире чувствовала себя хорошо, их язык она понимала гораздо лучше, чем язык людей; ухаживала она за своими зверушками с чисто материнской нежностью. Недостаток способности к логическому мышлению возмещался у нее инстинктом, который ставил ее на равную ногу с животными. При первом их крике она уже знала, что их тревожит. Она изобретала всевозможные лакомства, на которые животные с жадностью набрасывались. Достаточно было одного ее жеста, чтобы утихомирить их ссоры; по первому взгляду узнавала она, хороший или дурной у них нрав, и рассказывала про своих питомцев интереснейшие истории с таким множеством мельчайших подробностей касательно образа действий какого-нибудь петушка, что глубоко поражала людей, которые никак не могли отличить одного цыпленка от другого. Ее скотный двор сделался особым государством, где она правила, точно самодержавная властительница. Государство это отличалось весьма сложной организацией, в нем то и дело происходили перевороты, население здесь было самое разнородное, а летописями его ведала лишь она одна. Верность ее инстинкта доходила до того, что она заранее определяла, какие яйца выйдут болтунами, и наперед знала размер приплода у крольчихи.

В шестнадцать лет, с наступлением зрелости, у Дезире не было ни головокружений, ни тошноты, как у других девушек. Она сразу же превратилась в хорошо сложенную женщину и стала еще здоровее; тело ее пышно расцветало, платья начали трещать по швам. С той поры округлые формы ее оставались гибкими, движения – свободными; она походила на мощную античную статую, но на самом деле это было здоровое, сильное животное. Проводя целый день на скотном дворе, она, казалось, всасывала своими белыми и крепкими, как молодые деревца, ногами живительные соки чернозема. Она была полна жизненных сил, но никаких чувственных желаний в ней не просыпалось. Ей давало вполне достаточное удовлетворение биение жизни, кишевшей вокруг нее. От навозных куч, от спаривавшихся животных к ней поднималась волна зарождения и обдавала ее радостным ощущением плодородия. Стоило курице снести яйцо, как Дезире уже испытывала радостное чувство. Относя крольчих к их самцам, она смеялась смехом сладостно утомленной красивой девушки. Доила козочку – и испытывала счастье беременной женщины. Все это были вполне здоровые чувства. Дезире вся была

исполнена запахов, тепла, жизни и оставалась совершенно невинной. К заботам об увеличении населения ее страны у нее никогда не примешивалось ни тени нездорового любопытства. Петух бил крыльями, самки рожали детенышей, козел отравлял своим запахом тесный хлев, а Дезире оставалась совершенно спокойной. Она сохраняла невозмутимость красивого животного, всю ясность взгляда, не затуманенного мыслью, она радовалась, что ее маленький мирок плодится и размножается, и ей казалось, будто это растет собственная ее плоть. Она до такой степени естественно сливалась со всеми самками своего двора, что как бы являлась общей его матерью, с чьих перстов, без дрожи и трепета, словно ниспадал на все это царство труд и пот родильных мук.

С тех пор как Дезире попала в Арто, она проводила дни в полном блаженстве. Наконец-то ей удалось осуществить мечту своей жизни, единственное желание, тревожившее ее слабый, незрелый ум! У нее во владении был целый скотный двор, предоставленный ей в полное распоряжение, и она могла свободно растить там своих зверьков. И она окунулась в него с головой, сама строила домики для кроликов, рыла прудки для уток, вбивала гвозди, таскала солому и не выносила, чтобы ей помогали. Тезе ничего более не оставалось, как отмывать саму Дезире. Скотный двор был расположен за кладбищем. Довольно часто Дезире приходилось даже ловить где-нибудь среди могил любопытную курочку, перелетевшую через ограду. В глубине двора под навесом находились курятник и помещение для кроликов; а по правую руку, в небольшой конюшне, жила коза. Впрочем, все животные дружили между собой: кролики гуляли с курами, коза мочила копытца в воде среди уток; гуси, индюшки, цесарки и голуби водили компанию с тремя котами. Когда Дезире показывалась у деревянной загородки, преграждавшей всему этому населению доступ в церковь, ее приветствовал оглушительный шум.

- Ага! Слышишь? - сказала она брату еще у дверей столовой.

Когда она вышла вслед за ним на скотный двор и затворила за собой калитку, птицы и животные набросились на нее с такой яростью, что скрыли ее от глаз аббата. Утки и гуси, щелкая клювами, тянули ее за юбки; прожорливые куры прыгали на руки и пребольно клевали их; кролики жались к ее ногам и кидались ей прямо на колени. А три кота вскочили на плечи Дезире. Только коза ограничилась тем, что блеяла в конюшне: бедняжка не могла выбраться наружу.

- Тише вы, животные! - звонко закричала девушка и раскатисто захохотала; все эти перья, лапки и клювы, теребившие ее, вызывали щекотку.

Но Дезире ничего не делала, чтобы высвободиться. Она часто говаривала, что с охотой дала бы им себя съесть, – так приятно ей было чувствовать, как вокруг нее бьется жизнь, теплая, пушистая... Дольше всех упорствовал кот, ни за что не хотевший спуститься с ее спины.

– Это Муму, – сказала она, – лапки у него совсем бархатные.

И потом, с гордостью показывая брату свои владения, прибавила:

– Видишь, как здесь чисто!

Действительно, скотный двор был выметен, вымыт и вычищен. Однако от взбаламученной грязной воды, от вывернутых на вилах соломенных подстилок подымался такой нестерпимо едкий запах, что у аббата Муре сперло дыхание. У кладбищенской стены возвышалась огромная куча дымящегося навоза.

– Смотри, какова грудка! – продолжала Дезире и подвела брата к едким испарениям. – Все это я сложила сама, никто мне не помогал... Знаешь, это вовсе не грязная работа. Это даже смягчает кожу, взгляни на руки.

И она протянула ему руки, окунув их перед этим в ведро с водой, – царственные, округлые и роскошные руки, точно белые пышные розы, пустившие ростки в этом навозе.

– Да, да, – пробормотал священник, – ты хорошо поработала. Теперь здесь очень красиво.

И он направился было к калитке, но она остановила его:

– Да погоди же! Ты еще не все посмотрел. Ты и не подозреваешь...

Она потащила его под навес к жилищу кроликов.

– В каждом домике есть детеныши, – сказала она, хлопая от восторга в ладоши.

Тут она самым пространственным образом принялась описывать привычки кроликов. Она заставила его наклониться, сунуть нос за загородку и выслушать мельчайшие подробности из жизни этих зверьков. Самки, тревожно поводя длинными ушами, искоса наблюдали за ними, пыхтя и ежась от страха. В одной из клеток была ямка, устланная шерстью, на дне которой ерзала кучка живых существ, неопределенная темноватая масса, тяжело дышавшая, словно единое тело. К краям ямки то и дело подползали детеныши с огромными головами. Чуть подальше виднелись уже окрепшие, похожие на молодых крыс кролики; они суетились, прыгали, припадая на передние лапы и выставляя в воздух свои белые пупырышки-хвосты. Эти кролики были милы и игривы, как дети; они скакали галопом по клетке, у белых были глаза бледно-рубинового цвета, у темных они сверкали, будто агатовые бусинки. Внезапно они в испуге шарахались в сторону и подпрыгивали, обнаруживая худенькие лапки, порыжевшие от мочи. Иногда кролики сбивались в такие тесные кучи, что не видно было даже их мордочек.

– Это ты их пугаешь, – говорила Дезире, – меня-то они хорошо знают!

И она звала их, вынимая из кармана хлебные корки. Малютки-кролики понемногу успокаивались и бочком подходили, один за другим, к самой решетке. Там Дезире на минуту задерживала их и показывала брату розовый пушок на каждом брюшке. А потом самому смелому давала корочку. Тогда детеныши сбегались толпой, теснились вокруг, толкались, но до драки дело не доходило; трое кроликов иной раз грызли одну и ту же корку; другие пускались наутек, к стенке, чтобы поесть на свободе. А самки, в глубине, продолжали недоверчиво пыхтеть и отказывались от корок.

– Вот обжоры! – закричала Дезире. – Готовы жевать до завтрашнего утра!.. Ночью слышно, как они грызут какой-нибудь завалавшийся лист.

Священник распрямился, собираясь уйти, но Дезире не переставала улыбаться своим милым малюткам.

– Ты видишь: тот вон толстенький, совсем беленький, с черными ушками?.. Так вот! Этот просто обожает мак. И отлично умеет выбирать его из других стеблей... На днях у него сделались колики. Он все время стоял на задних лапках. Тогда я взяла его и положила в карман. Он там отогрелся и с тех пор повеселел.

Она просунула пальцы за решетку и стала гладить малышей.

– Настоящий атлас, – говорила она. – Одеты как принцы. И при этом щеголи! Гляди, вот этот все чистит себя. У него даже лапки стерлись... Если б ты только знал, какие они забавные! Я-то ничего не говорю, но отлично замечаю все их хитрости. Вот, например, этот серенький, что смотрит на нас: он не выносит одну маленькую самку, так что мне пришлось их рассадить. Между ними происходили ужасные сцены. Рассказывать слишком долго. Наконец, в последний раз, когда он ее поколотил, я прибежала вне себя. И что же я вижу? Этот негодник забился в угол и прикинулся, что издыхает. Хотел меня убедить, будто это она его обидела.

Она перевела дух, а затем обратилась к кролику:

– Ну, что ты там уши наострил, мошенник?!

Потом, повернувшись к брату, подмигнула ему и пробормотала:

– Он понимает все, что я говорю!

Аббат Муре не мог дольше выдержать жары, подымавшейся от этого приплода. В этих копошащихся комочках шерсти, едва вышедших из утробы матери, уже билась жизнь и ударяла ему в виски своим крепким и едким запахом. Дезире мало-помалу словно пьянела и становилась все веселее, румянее и медлительнее.

– Что тебя так тянет отсюда? – воскликнула она. – Вечно ты куда-то спешишь!.. А вот и мои птенчики! Они вывелись нынче ночью.

Она взяла пригоршню риса и кинула наземь. Курица призывно закудаhtала и важно приблизилась к ней в сопровождении всего выводка; цыплята пищали и метались как угорелые. Затем, когда они оказались возле самой кучки риса, мать принялась яростно ударять клювом, разбивая и откидывая зерна, а малыши клевали на ее глазах с суетливым видом. Они были очаровательны, как дети: полуголые, с круглыми головками, с блестящими, точно стальные острия, глазками, с препотешными клювами, покрытые нежно завивавшимся пушком, точно игрушечные. Дезире при виде их так и заливалась смехом.

– Вот душки! – лепетала она в восторге.

Она взяла в каждую руку по цыпленку и покрыла их поцелуями. Священник должен был осмотреть их во всех подробностях, а она тем временем спокойно говорила:

– Петушков разузнуть нелегко. Но я-то никогда не ошибаюсь... Это вот курочка, и вот эта тоже курочка.

Она опустила их на землю. Но тут подбежали клевать рис и другие куры. За ними выступал большущий огненно-рыжий петух; он осторожно и величественно подымал свои широкие лапы.

– Александр становится великолепным, – сказал аббат, желая порадовать сестру.

Петуха звали Александром. Он посмотрел на девушку своим огненным глазом, повернул голову и распустил хвост. А потом расположился у самой ее юбки.

– Меня-то он любит, – сказала Дезире. – Мне одной позволяет себя трогать... Хороший петух. У него четырнадцать кур, и я ни разу еще не находила яиц-болтунов... Правда, Александр?

Она наклонилась к петуху, который смиренно стоял, принимая ее ласку. К его гребню точно прихлынула волна крови. Он захлопал крыльями, вытянул шею и издал протяжный крик; голос его прозвучал как медная труба. Он возобновлял свое пение четыре раза, и издали ему отвечали все петухи селения Арто. Дезире забавляло выражение испуга, появившееся на лице ее брата.

– Эге, да он тебя оглушил! – сказала она. – Знатная у него глотка... Но, уверяю тебя, он вовсе не зол. Вот куры, те злые. Помнишь большую пеструшку, что несла желтые яйца? Третьего дня она расцарапала себе лапу. Другие куры увидели кровь и точно обезумели. Набросились на нее, стали клевать, пить ее кровь и к вечеру сожрали всю лапку. Я нашла ее: лежит себе, головка под камешком, совсем одурела, молчит и позволяет себя клевать.

Прожорливость кур рассмешила ее. Она начала рассказывать мирным тоном о других подобных жестокостях: о том, как у цыплят раздирали в клочья зады и выклевывали внутренности, так что она находила потом лишь шею да крылья; о том, как выводок котят был съеден в конюшне за несколько часов...

– Попробуй им человека кинуть, – продолжала она, – они и его прикончат... А как легко они переносят боль! Прекрасно живут себе с переломанной лапкой. Пусть у них будут раны и дыры по всему телу – такие, что хоть кулак засовывай, – аппетита у них не убавится. Вот за это-то я их и люблю; день, другой – и все заживает; тело у них теплое-теплое, точно там, под перьями, запасы солнышка... Чтобы задать им пир, я иной раз бросаю им куски сырого мяса. А червей-то как они любят! Вот увидишь сам.

Она подбежала к навозной куче и без всякого отвращения вытащила оттуда червяка. Куры бросились прямо к ней на руки. Она же высоко подняла добычу и забавлялась их жадностью. Наконец Дезире разжала пальцы. Куры, толкаясь, набросились на червяка. Потом одна из них, преследуемая остальными, убежала с добычей в клюве. Она выронила червяка, вновь подхватила, опять выронила, и это продолжалось до тех пор, пока другая, широко раскрыв клюв, не проглотила его целиком. Тогда все куры остановились – шея набок, глаза навывкате – в ожидании второго червяка. Довольная Дезире называла их по именам, обращалась к ним с ласковыми словами, а аббат Муре при виде этой шумной прожорливой стаи даже немного отступил.

– Нет, мне от этого становится не по себе, – сказал Серж сестре, хотевшей, чтобы он взвесил на руке курицу, которую она откармливала. – Мне неприятно, когда я дотрагиваюсь до животных.

Он сделал попытку улыбнуться. Но Дезире упрекнула его в трусости.

– Вот так-так! А мои утки? А гуси? А индюшки? Что бы ты делал, если бы тебе пришлось за всеми за ними ухаживать?.. Уж до чего они грязны, утки! Слышишь, как они бьют клювами по воде? А когда ныряют, виден только хвост, вроде кегли, прямой-прямой... С гусями да индюшками тоже не так-то просто управиться. Ах, до чего забавно, когда они вышагивают: одни совсем белые, другие совсем черные, и у всех длинные шеи. Точно кавалеры и дамы... Им пальца в рот не клади! Отхватят, оглянуться не успеешь... А мне они пальцы целуют, видишь?

Ее слова были прерваны радостным бляением козы, которая наконец одолела припертую дверь конюшни. Прыжок, другой – и животное было уже рядом с Дезире, опустилось на передние ноги и ласково терлось рогами о ее платье. Священнику померещилось что-то дьявольское в остроконечной бородке и раскосых глазах козы. Но Дезире обвила шею козочки руками, поцеловала ее в голову и побежала с ней рядом, толкая, что станет ее сосать. Она, мол, делает это частенько. Захочется ей здесь пить – ляжет в конюшне и сосет козье вымя.

– Погляди, как у нее много молока: полным-полно! – И она приподняла огромное вымя животного.

Аббат отвел глаза, точно ему показали нечто непристойное. Ему припомнилось, что в Плассане, в монастыре св. Сатюрнена, он видел на стене каменное изображение козы, блудодействовавшей с монахом. Вообще козы, от которых пахло козлом, капризные и упрямые, точно барышни, протягивающие свои отвислые сосцы каждому встречному и поперечному, представлялись ему настоящими исчадиями ада, источающими похоть. Сестра его добилась позволения держать козу лишь после долгих, настоятельных просьб. Когда аббат приходил сюда, он старательно избегал всякого прикосновения к шелковистой шерсти животного и защищал свою рясу от его рогов.

– Ладно, я отпущу тебя на свободу, – сказала Дезире, заметив возраставшее беспокойство брата. – Но прежде мне надо тебе еще кое-что показать... Обещай на меня не сердиться, хорошо? Я тебе ничего не говорила, ты бы не захотел... Если б ты только знал, как я рада!

И она с умоляющим видом сложила руки и опустила голову брату на плечо.

– Еще какая-нибудь глупость? – пробормотал он не в силах удержаться от улыбки.

– Так ты обещаешь, скажи? – продолжала она, и глаза ее заблестели от удовольствия. – Ты не рассердишься?.. Он такой хорошенький!

Она побежала и открыла низкую калиточку под навесом. На двор выбежал поросенок.

– О, мой херувимчик! – в восторге восклицала она при виде того, как он поскакал.

Поросенок был действительно прелестный, весь розовенький, с мордочкой, умытой в жирной воде, с темными кружками вокруг глаз от постоянного копания в грязи. Он бегал, расталкивая кур, поедая то, что им бросали, и заполнял неширокий двор внезапными прыжками и пируэтами. Уши его хлопали по глазам; пяточком он тыкался в землю; ножки у него были тонкие, и весь он походил на заводную игрушку. А висевший сзади хвостик напоминал обрывок бечевки, словно поросенка вешали на гвоздь.

– Не хочу, чтобы это животное здесь оставалось! – воскликнул рассердившийся священник.

– Серж, милый Серж, – снова начала умолять его Дезире, – не будь таким злым... Погляди, какой он невинный, этот малыш! Я стану его мыть, буду держать его в чистоте. Теза упростила, чтобы мне его подарили. Теперь его уже обратно отослать нельзя... Гляди, он на тебя смотрит, он чувствует тебя. Не бойся, он тебя не тронет...

Вдруг она покатила со смеху, не докончив фразы. Расшалившийся поросенок бросился под ноги козе и опрокинул ее. И снова принялся бегать, визжа, кувыркаясь и пугая весь двор. Чтобы успокоить его, Дезире подставила ему глиняную посудину с водой. Он погрузился в чашку вплоть до ушей, плескался, хрюкал, и по его розовой коже пробежала мелкая дрожь. Хвостик его развился и обвис.

Аббату Муре стало нестерпимо противно, когда он услышал всплески этой грязной воды. Как только он попал на скотный двор, у него сразу сперло дыхание, руки, грудь и лицо запылали. Мало-помалу у него стала кружиться голова. И сейчас он чувствовал, как вместе с одуряющим запахом животного тепла, поднимавшегося от всех этих кроликов и пернатых, в ноздри его проникают похотливые испарения козы и жирная приторность поросенка. Воздух, отягощенный испарениями плоти, невыносимо давил на девственные плечи аббата. Ему почудилось, что Дезире выросла, раздалась в бедрах, машет огромными руками, и от ее юбок, с самой земли, подымается мощный аромат, от которого ему стало дурно. Он едва успел открыть деревянную загородку. Ноги его прилипали к пропитанной навозом земле, и ему показалось, что она цепко держит его. Внезапно в памяти аббата встал Параду, с его большими деревьями,

черными тенями, сильным благоуханием, и он никак не мог освободиться от этого воспоминания.

– Что это ты вдруг так покраснел? – спросила Дезире, очутившись вместе с ним за изгородью. – Ты не рад, что на все это посмотрел?.. Слышишь, как они кричат?

Заметив, что она уходит, животные столпились гурьбой у изгороди, испуская жалобные крики. Особенно пронзительно визжал поросенок – точно пила, которую натачивают. Дезире делала им реверансы, посылая кончиками пальцев воздушные поцелуи и смеялась, видя, что они все столпились вокруг, точно были в нее влюблены. Потом, прижавшись к брату, пошла вместе с ним в сад.

– Мне бы так хотелось корову, – прошептала она ему на ухо, вся зардевшись.

Он посмотрел на нее и сделал протестующий жест.

– Нет, не сейчас, – торопливо сказала она. – Мы еще об этом поговорим... Место у нас в конюшне есть. Подумай только – красивая белая корова с рыжими пятнами. Увидишь, какое у нас будет чудесное молоко. Козы нам, в конце концов, мало. А когда корова отелится!..

Она заплясала, захлопала в ладоши, а священнику опять померещился скотный двор, запахами которого было пропитано ее платье. И он поспешил оставить ее в саду. Дезире уселась на земле, перед ульем, на самом солнце; пчелы с жужжанием перекатывались золотыми шариками по ее шее, по голым рукам, по волосам, но не жалили девушку.

XII

По четвергам в доме священника обедал брат Арканжиас. Обычно он приходил пораньше, чтобы поболтать о приходских делах. Вот уже три месяца он держал аббата в курсе всего, что происходило в долине Арто. В этот четверг, в ожидании, когда Теза пригласит их к обеду, они медленно прогуливались перед церковью. Рассказав о своем разговоре с Бамбусом, священник был весьма

удивлен, когда монах нашел ответ крестьянина совершенно естественным.

– Этот человек прав, – говорил брат Арканжиас. – Даром своего добра не отдают... Розали не бог весть что; но все-таки тяжело выдавать дочь за нищего.

– Однако, – возразил аббат Муре, – только свадьбой можно замять скандал.

Монах пожал своими крепкими плечами и зло рассмеялся.

– Неужели вы воображаете, – воскликнул он, – что можно исправить местные нравы этой свадьбой?.. Через каких-нибудь два года Катрин тоже станет брюхатой; а за ней и другие; все пройдут через это. А как только выйдут замуж, наплевать им на всех... Здесь, в Арто, все плодятся от незаконных браков; им это – что родной навоз. Я уже говорил вам, есть лишь одно средство: свернуть шею всем этим девкам; только таким путем можно избавить край от заразы... Не замуж их надо выдавать, а пороть, слышите, господин кюре, пороть!

Успокоившись, он добавил:

– Пусть каждый распоряжается своим добром, как находит нужным.

И он заговорил о том, что надо упорядочить уроки катехизиса. Но аббат Муре отвечал рассеянно. Он смотрел на селение, раскинувшееся внизу, в лучах заходящего солнца. Крестьяне возвращались домой, мужчины шагали молча, точно утомленные быки, медленно бредущие в хлев. Перед лачугами стояли женщины, оживленно болтая друг с другом и время от времени окликая мужей; толпы ребятишек заполняли всю улицу топанием грубых башмаков, дракой, возней и барахтанием. От кучи покосившихся хижин доносился запах человеческого жилья. И священнику показалось, что он все еще находится на скотном дворе Дезире, где, беспрестанно множась, копошились животные. Снизу поднимался все тот же душный запах плоти и непрерывного размножения, от которого ему становилось не по себе. Только и слыша с раннего утра разговоры о беременности Розали, он в конце концов начал размышлять о грязи существования, о требованиях плоти, о роковом воспроизведении человеческого рода, сеющем людей, точно хлебные зерна. Все жители Арто были одним стадом, расположившимся между четырьмя холмами, замыкавшими горизонт. Они плодились и размножались, все шире распространяясь по долине с каждым новым поколением.

– Посмотрите, – закричал брат Арканжиас и показал на высокую девушку за кустом, которую целовал ее возлюбленный, – вот еще одна негодяйка!

Он так яростно замахал своими длинными черными руками, что обратил парочку в бегство. Вдали, над красной землей, над голыми скалами, в пламени последней вспышки пожара умирало солнце. Мало-помалу спускалась ночь. Теплый запах лаванды стал ощущаться сильнее: его приносил теперь с полей легкий ветерок. Порою раздавался точно глубокий вздох: казалось, грозная, вся сожженная страстью земля наконец успокоилась под серой влажной пеленою сумерек. Аббат Муре, со шляпой в руках, радовался прохладе и чувствовал, как темнота обволакивает его душу покоем.

– Господин кюре! Брат Арканжиас! – позвала Теза. – Скорее! Суп подан!

Крепкий запах капусты наполнял столовую церковного дома. Монах сел и медленно принялся опоражнивать огромную миску, которую Теза поставила перед ним. Он ел много, и по бульканью супа в его горле было слышно, как пища переходит в желудок. Он ел молча, не поднимая глаз.

– Мой суп, должно быть, нехорош, господин кюре? – спросила старая служанка. – Вы только болтаете ложкой, а не едите.

– Я совсем не голоден, добрая моя Теза, – ответил аббат и улыбнулся.

– Еще бы!.. И неудивительно после ваших походов... Вам бы теперь уже хотелось есть, если бы вы завтракали не в третьем часу.

Брат Арканжиас, перелив на ложку остаток супа из тарелки, наставительно проговорил:

– Надо трапезовать в положенные часы, господин кюре!

В это время Дезире, также евшая свой суп сосредоточенно и безмолвно, поднялась с места и пошла за Тезою в кухню. Монах, оставшись вдвоем с аббатом, резал хлеб длинными ломтями и отправлял их в рот в ожидании следующего блюда.

– Значит, вы далеко ходили? – спросил он.

Священник не успел ответить. В коридоре, со стороны двора, слышались шаги, восклицания, громкий смех, торопливые голоса. Казалось, кто-то спорил и горячился. Аббата смутил звучный, как флейта, голос, заглушавшийся взрывами веселого смеха.

– Что там такое? – спросил он, вставая со стула. Дезире одним прыжком влетела в столовую. Она что-то прятала в подоле юбки и быстро повторяла:

– Вот смешная. Ни за что не хотела войти! Я держала ее за платье, но она очень сильная и вырвалась.

– О ком она говорит? – спросила Теза, прибежавшая из кухни; в руках у нее было блюдо с картофелем, на котором плавал кусок сала.

Девушка села. С бесконечными предосторожностями она извлекла из юбок гнездо черных дроздов с тремя дремавшими птенцами. Она положила его на тарелку. Птенчики, увидев свет, вытянули хрупкие шейки и стали раскрывать красные клювы, прося есть. Дезире в восторге захлопала в ладоши, охваченная необыкновенным волнением при виде неведомых ей существ.

– Ах, это девушка из Параду! – воскликнул аббат и вдруг все вспомнил.

Теза подошла к окну.

– Верно, – сказала она, – как это я не узнала этой стрекозы?.. Ах, цыганка! Смотрите, она еще тут, шпионит за нами.

Аббат Муре также подошел к окну. Ему действительно показалось, что за кустом можжевельника мелькнула оранжевая юбка Альбины. Но брат Арканжиас грозно вырос за ним, вытянул кулак и, потрясая своей огромной головой, проревел:

– Дьявол тебя возьми, разбойничья дочь! Погоди, вот я тебя за волосы протащу вокруг церкви, коли поймаю! Посмей еще являться сюда со своими мерзостями!

Свежий, как дыхание ночи, смех долетел с тропинки. Потом слышались быстрые, легкие шаги, шуршание платья по траве, будто проскользнул уж. Аббат Муре, стоя возле окна, следил, как мелькало вдали белое пятно, скользившее между сосен, подобно лунному лучу. Дуновение налетавшего снизу ветерка доносило до него сильный запах зелени; этот аромат диких цветов, казалось, струился с голых рук, гибкого стана и распущенных волос Альбины.

– У, проклятая, дочь погибели! – глухо рычал брат Арканжиас, усаживаясь за стол.

Он с жадностью съел сало, проглатывая вместо хлеба целые картофелины. Но Теза никак не могла убедить Дезире окончить обед: это большое дитя в восторге глядело на гнездышко дроздов. Дезире расспрашивала, что они едят, несут ли яйца и как у этих птиц распознают петуха.

Внезапно старую служанку будто осенило. Она оперлась на здоровую ногу и подозрительно посмотрела молодому священнику прямо в глаза.

– Вы, оказывается, знакомы с теми, кто живет в Параду? – спросила она.

Тогда он попросту рассказал все, как было, и описал свое посещение старика Жанберна. Теза обменялась с братом Арканжиасом возмущенными взглядами. В первую минуту она не проронила ни слова. Она только ходила вокруг стола, яростно хромая и стуча каблуками с такой силой, что половицы трещали.

– За три месяца, что я здесь живу, вы бы могли объяснить мне, что это за люди, – закончил свой рассказ священник. – Я бы, по крайней мере, знал, с кем буду иметь дело.

Теза остановилась, как будто у нее подкосились ноги.

– Не кривите душой, господин кюре, – проговорила она, заикаясь, – не кривите душой, это усилит ваш грех... Как вы можете говорить, что я не рассказывала вам про этого философа, этого язычника, что служит притчей во языцех для всей округи! Все дело в том, что вы никогда не слушаете, когда я с вами говорю. У вас в одно ухо входит, в другое выходит... Да, кабы вы меня слушали, вы избежали бы многих неприятностей.

– Я вам тоже кое-что говорил об этом нечестивце, – подтвердил со своей стороны монах.

Аббат Муре слегка пожал плечами.

– Возможно, я мог и забыть, – возразил он. – Когда я уже был в Параду, мне и вправду показалось, что я что-то слышал, какие-то разговоры... Впрочем, я все равно не мог бы не поехать к этому несчастному, полагая, что он при смерти.

Брат Арканжиас, не переставая жевать, хватил ножом по столу и завопил:

– Жанберна – собака! Пусть и околевает как пес.

Видя, что священник собирается возразить, он перебил его:

– Нет и нет! Для него нет ни бога, ни покаяния, ни милосердия!.. Лучше бросить причастие свиньям, чем войти с ним в дом к этому мерзавцу.

Он снова принялся за картофель, положив локти на стол, уткнувшись подбородком в тарелку и яростно двигая челюстями. Теза, закусив губу и побледнев от гнева, сухо произнесла:

– Оставьте, господин кюре хочет жить только своим умом; у господина кюре завелись теперь тайны от нас.

Воцарилось тяжелое молчание. В течение некоторого времени слышно было только громкое чавканье монаха да его тяжелое сопение. Дезире, охватив голыми руками гнездышко дроздов на тарелке, улыбалась, наклонясь лицом к птенчикам, и долго тихонько шепталась с ними каким-то особым щебетанием, которое они, казалось, понимали.

– Люди рассказывают, что делают, коли им нечего скрывать! – внезапно закричала Теза.

Опять возобновилось молчание. Старую служанку больше всего выводило из себя то обстоятельство, что священник как будто хотел сохранить от нее в тайне свое посещение Параду. Она считала себя недостойно обманутой женщиной. Ее

терзало любопытство. Она все ходила вокруг стола, не глядя на аббата, и, ни к кому не обращаясь, отводила душу, разговаривая сама с собой:

- Теперь понятно, почему обедают так поздно!.. Не сказав никому ни слова, рыщут где-то до двух часов пополудни, заходят в дома с такой дурной славой, что после и рассказать об этом не смеют. А потом говорят неправду, обманывают весь дом...

- Но ведь меня никто не спрашивал, ходил ли я в Параду, - тихонько проговорил аббат Муре, заставлявший себя есть, чтобы еще больше не рассердить Тезу, - мне незачем было лгать.

Теза продолжала, будто ничего не слыша:

- Подметают своей рясой пыль, домой возвращаются тайком. А если особа, принимающая в вас участие, расспрашивает ради вашего же блага, с ней обращаются, точно со вздорной бабой, не заслуживающей никакого доверия. Прячутся, хитрят, скорее лопнут, чем полслова вымолвят; даже не подумают поразвлечь домашних рассказом о том, что видели!

Она повернулась к священнику и взглянула ему прямо в лицо.

- Да, это про вас, все про вас... Вы скрытный, вы недобрый человек!

И она принялась плакать. Аббату пришлось ее утешать.

- Господин Каффен все мне рассказывал, - причитала она.

Понемногу она успокаивалась. Брат Арканжиас приканчивал огромный кусок сыра, по-видимому нисколько не смущаясь происходившей сценой. По его мнению, аббата Муре необходимо было держать в узде, и Теза правильно делала, читая ему время от времени наставления. Монах опорожнил последний стакан дешевого вина и откинулся на стул, отдаваясь пищеварению.

- Что же вы все-таки там видели, в этом Параду? - спросила старуха. - Расскажите нам, по крайней мере.

Аббат Муре с улыбкой в немногих словах описал странный прием, оказанный ему Жанберна. Теза засыпала его вопросами, издавая негодующие восклицания. Брат Арканжиас потрясал в воздухе сжатыми кулаками.

– Да сокрушит его небо! – воскликнул он. – Да испепелит небесный огонь и его самого, и его колдунью!

В свою очередь, аббат захотел узнать новые подробности относительно обитателей Параду. Он с глубоким вниманием слушал монаха, который рассказывал чудовищные вещи.

– Да, эта чертовка однажды явилась в школу. Дело было давно, ей было тогда лет десять. Я оставил девчонку, полагая, что дядя прислал ее готовиться к первому причастию. И вот в два месяца она взбунтовала мне весь класс. Негодяйка умела заставить обожать себя! Она знала разные игры, выдумывала наряды из листьев и лоскутов. И, надо вам сказать, была она смышленной, как все эти исчадия ада! В катехизисе сильнее ее не было!.. И вот в одно прекрасное утро в класс врывается посреди уроков старик. Начинает кричать, что он все разнесет, что попы-де отняли у него ребенка. Пришлось посылать за полевым сторожем, чтобы вытолкать его за дверь. А девчонка удрала. В окно я видел, как она в поле смеялась прямо в лицо дяде, потешаясь над его яростью... В школу она ходила месяца этак два, по собственной охоте, а он и не подозревал об этом. Камни возопиют от такой истории.

– Она так никогда и не причащалась, – вполголоса промолвила Теза и даже слегка задрожала.

– Никогда, – подтвердил брат Арканжиас. – Теперь ей, должно быть, лет шестнадцать. Выросла, как дикий зверь на воле. Я видел, она бегала на четвереньках в лесу, возле Палю.

– На четвереньках, – пробормотала служанка и с беспокойством обернулась к окну.

Аббат Муре позволил было себе усомниться, но монах вышел из себя.

– Да, на четвереньках! И прыгала, как дикая кошка, задрав юбки и оголив ляжки. Будь у меня ружье, я бы ее пристрелил. Богу звери куда угоднее, а ведь их же

убивают... Кроме того, прекрасно известно, что она по ночам бродит вокруг Арто и мяучит. Мяучит, как похотливая кошка. Попадись ей в когти мужчина, этой твари, у него на костях не останется ни клочка кожи.

Тут проявилась вся ненависть монаха к женщине. Ударом кулака он потряс стол и стал выкрикивать свои обычные ругательства:

– Дьявол у них сидит в нутре! От них разит дьяволом! От их ног и рук, от их живота, отовсюду!.. И этим-то они и околдовывают глупцов!

Священник одобрительно кивал головой. Грубость брата Арканжиаса, навязчивая болтовня Тезы были для него ударами ремня, которыми он зачастую бичевал свои плечи. С благочестивой радостью он окунался в бездну унижения, отдавая себя во власть этих грубых душ. Презрение мира сего, глубокое самоуничижение представлялось ему верным путем к достижению небесной благодати. Это походило на радость умерщвления плоти, на холодный поток, куда он словно окунал свое изнеженное тело.

– Все в мире грязь, – пробормотал он, складывая салфетку.

Теза убирала со стола. Она хотела унести и тарелку, на которую Дезире положила подаренное ей гнездо с дроздами.

– Вы ведь не возьмете их к себе в постель, барышня, – сказала она. – Бросьте-ка этих скверных птиц!

Но Дезире защищала тарелку. Она прикрыла гнездо руками, она больше не смеялась и сердилась, что ей мешают.

– Надеюсь, вы не оставите в доме этих птиц, – воскликнул брат Арканжиас, – ведь это принесет вам несчастье!.. Надо свернуть им шею.

И он уже протянул было свои огромные руки. Девушка вскочила и, отступив назад, дрожа, прижала гнездо к груди. Она пристально глядела на монаха, оттопырив губы, точно готовая укусить волчица.

– Не трогайте птенчиков, – пробормотала она, – вы урод!

Последнее слово она произнесла с таким глубоким презрением, что аббат Муре вздрогнул, будто безобразие монаха поразило его впервые. Тот удовольствовался тем, что невнятно зарычал. Он питал глухую ненависть к Дезире: пышная красота ее тела оскорбляла его. Пятясь и не спуская с Арканжиас глаз, она вышла из комнаты, а тот пожал плечами и пробормотал сквозь зубы непристойность, которую никто не расслышал.

– Пусть лучше ложится спать, – проговорила Теза. – Она нам будет только мешать в церкви.

– Разве они уже пришли? – спросил аббат Муре.

– Девушки давным-давно собрались на паперти с охапками зелени... Пойду зажигать лампы. Можно начинать службу, когда вам будет угодно.

Через несколько мгновений уже послышалась ее брань в ризнице: она ворчала, что спички отсырели. Брат Арканжиас, оставшись наедине со священником, спросил его неприязненным тоном:

– Это по случаю месяца девы Марии?

– Да, – отвечал аббат Муре. – Местные девушки были в эти дни заняты полевыми работами; они не могли, по обычаю, украсить алтарь пресвятой девы. И я отложил обряд на сегодняшний вечер.

– Хорош обычай! – пробормотал черноризец. – Как увижу, что они кладут ветви, всякий раз мне хочется толкнуть их самих на землю, чтобы они, по крайней мере, покаяться в своих мерзостях прежде, чем коснутся престола... Просто позор – допускать, чтобы женщины подметали своими юбками плиты возле святых мощей.

Аббат сделал примирительный жест. Он, мол, недавно в Арто и должен подчиняться местным обычаям.

– Не пора ли начинать, господин кюре? – крикнула Теза.

Но брат Арканжиас задержал аббата еще на минуту.

– Я ухожу, – заявил он. – Религия не девица, чтобы наряжать ее в цветы и кружева!

И он немедленно зашагал к дверям. Потом вновь остановился и поднял свой волосатый палец.

– Остерегайтесь такого поклонения святой деве! – прибавил он.

XIII

Аббат Муре застал в церкви около десяти рослых девиц с оливковыми и лавровыми ветвями и охапками розмарина в руках. Садовые цветы почти не росли на каменистой почве Арто, и поэтому возник обычай украшать алтарь святой девы медленно вянущей зеленью, чье цветение продолжалось весь май. Теза прибавляла к зелени еще несколько букетов ползучего левкоя, которые она держала в воде, в старых графинах.

– Позвольте уж мне распорядиться, господин кюре, – попросила она. – Вы еще не привыкли к этому... Вот, станьте-ка тут, перед алтарем. Вы мне потом скажете, нравится ли вам убранство.

Священник согласился, и она принялась руководить всей церемонией. Взгромоздясь на скамейку, она покрикивала на подходивших к ней по очереди с охапками зелени девиц.

– Ну, ну, не спешите! Дайте мне время прикрепить ветви. А не то все это свалится на голову господину кюре... Ну, ладно, Бабе, твоя очередь. Ишь, выпучила глазища! Ух и хорош твой розмарин – желтый, как чертополох! Видно, все деревенские ослицы на него мочились... Ну, теперь твой черед, Рыжая. Ага, вот этот лавр хоть куда! Ты его сорвала на своем поле у Круа-Верт, сразу видать.

Девицы опускали ветви на престол и прикладывались к нему. С минуту они стояли, уткнувшись в пелену, передавая зелень Тезе; и тут же, забывая, с какой напускной набожностью они только что подымались к алтарю, принимались смеяться, толкались коленками, приседали у самого престола, совали нос в

дарохранительницу. А святая дева из позолоченного гипса наклоняла над ними свое раскрашенное лицо и улыбалась розовыми губами нагому младенцу Иисусу, которого она держала на левой руке.

– Так, так, Лиза! – кричала Теза. – Садись уж прямо на престол, благо он под боком! Да опусти же юбки! Разве прилично показывать так свои ноги!.. Кто это там еще возится? Я ей сейчас швырну ветки в лицо!.. Не можете вы, что ли, вести себя поспокойнее?

Она обернулась к священнику:

– Ну как, это вам по вкусу, господин кюре? Красиво получилось?

Позади святой девы она устроила зеленую нишу; концы ветвей ниспадали, как пальмовые листья, образуя навес. Священник одобрил, но решился сделать замечание.

– Мне кажется, – пробормотал он, – наверху не мешало бы поместить букет из листьев понежнее...

– Разумеется, – проворчала Теза. – Но они мне приносят одни только лавры и розмарин... У кого из вас остались оливковые ветви? Ни у кого! Так и есть! У, язычницы поганые, боятся потерять несколько маслин!

Но тут на ступени алтаря взошла Катрин, неся огромную оливковую ветвь, под которой девочка почти совсем не была видна.

– Ага! У тебя есть, проказница! – крикнула старуха.

– Ах, чтоб тебя! – слышался чей-то голос. – Она украла эту ветку. Венсан ломал дерево, а она сторожила. Я сама видала.

Катрин в бешенстве клялась, что это ложь. Она повернулась и, не выпуская ветви, высунула из-под нее свою черноволосую голову. Она лгала с необыкновенным апломбом и выдумала целую историю в доказательство того, что оливковая ветвь ее собственная.

– А потом, – сказала она в заключение, – все деревья принадлежат святой деве!

Аббат Муре хотел было вмешаться; но тут Теза спросила, уж не смеются ли они над ней, заставляя ее так долго держать руки на весу. Она прочно прикрепила оливковую ветвь, а Катрин вскарабкалась тем временем на скамью и за спиной старухи передразнивала, как та неуклюже ворочалась своим полным телом, упираясь на здоровую ногу. Даже священник не мог сдержать улыбки.

– Ну, вот, – сказала Теза, спускаясь со ступеней и останавливаясь рядом с аббатом, чтобы окинуть взором дело своих рук. – Наверху все готово... Ну, а теперь мы разместим букеты между подсвечниками, или вы предпочитаете украсить гирляндой ступени алтаря?

Священник высказался за большие букеты.

– Ну, вы, подходите! – сказала старуха, снова взбираясь на скамью. – Не ночевать же нам тут... А ты, Мьетта, не хочешь приложиться к престолу? Или ты воображаешь, что находишься у себя в хлеве?.. Господин кюре, посмотрите, что они там делают! Чего они хохочут как полоумные?

Приподняли одну из лампад и осветили темный угол церкви. Под хорами три рослые девицы забавлялись тем, что толкали друг друга; одна из них упала головой в кропильницу, и это так развеселило остальных, что они, дабы вволю посмеяться, повалились на пол. Они поднялись и стали глядеть на кюре исподлобья, видимо очень довольные тем, что их бранят; при этом они хлопали себя руками по бедрам.

Но особенно рассердилась Теза, когда заметила, что Розали тоже собиралась подойти к алтарю с охапкою зелени.

– Сейчас же убирайся! – крикнула она. – Нахальства тебе не занимать стать, моя милая! Слышишь, сейчас же тащи прочь свою охапку.

– Почему это? – дерзко спросила Розали. – Меня-то, пожалуй, в краже не заподозрят!

Взрослые девицы топтались с видом совершенных дурочек; между тем глаза у них так и сверкали.

– Убирайся! – повторила Теза. – Тебе здесь не место, слышишь?

И тут, вконец потеряв терпение, старуха употребила грубое словцо, вызвавшее среди крестьянок довольный смех.

– Вот как! – сказала Розали. – А вам известно, что делают другие? Вы ведь небось не ходили за ними подсматривать?

И она сочла нужным разрыдаться. Она бросила ветви наземь и позволила аббату Муре отвести себя на несколько шагов в сторону. Здесь он строгим голосом что-то негромко сказал ей, после чего сделал все же попытку заставить Тезу замолчать. Среди этих развязных девиц, заполнивших всю церковь охапками зелени, ему становилось как-то не по себе. Они толкались у самых ступеней алтаря, окружали его, точно живая изгородь, дышали на него терпким, одуряющим запахом леса, струившимся от их загрубевших в работе тел.

– Скорей, скорей, – сказал он и легонько хлопнул в ладоши.

– Да, я бы и сама предпочла лежать сейчас в постели, – проворчала Теза. – Неужели вы думаете, что очень удобно торчать здесь и привязывать эти сучья?

В конце концов она все же связала и воткнула между подсвечниками огромные зеленые опахала. Потом слезла со скамьи, которую Катрин отнесла за алтарь. Оставалось только прикрепить по обе стороны престола большие букеты. На это хватило оставшейся зелени. Кроме того, девушки усыпали ветками весь пол до деревянной балюстрады. Алтарь святой девы превратился в рощицу с зеленой лужайкой впереди.

Только тогда Теза решилась уступить место аббату Муре; тот поднялся по ступенькам к престолу и снова слегка ударил в ладоши.

– Завтра, – сказал он, – мы будем продолжать службу во славу святой Марии. Кто не сможет прийти в церковь, должен будет, по крайней мере, прочитать молитву у себя дома.

Он преклонил колени, а крестьянки, сильно зашумев юбками, опустились и присели на полу на корточки. Они что-то невнятно бормотали под молитву священника, а порою пересмеивались. Одна из них, почувствовав, что ее щиплют сзади, испустила легкий крик, постаравшись заглушить его кашлем. Это так развеселило остальных, что, произнося «Амен», они скрючились и уткнулись носом в плиты, не будучи в силах подняться из-за душившего их смеха.

Теза гнала этих бесстыдниц, а священник, крестясь, оставался погруженным в молитву перед алтарем, как бы не слыша, что происходит позади него.

– А ну-ка, убирайтесь вон, – ворчала Теза. – Вот уж паршивое стадо! Даже бога почитать не умеете!.. Срам! Где это видано, чтобы взрослые девицы катались в церкви по полу, как скот на лугу?.. Что ты там вытворяешь, Рыжая? Если не перестанешь щипаться, тебе придется иметь дело со мной! Да, да, показывайте мне язык, я обо всем расскажу господину кюре! Ступайте, ступайте, негодницы!

И она медленно выпроваживала их к выходу, суетясь вокруг них и отчаянно хромая. Она уже выгнала их всех до одной, как вдруг увидела Катрин, преспокойно забравшуюся в исповедальню вместе с Венсаном; там они что-то уплетали с довольным видом. Она прогнала и их. Высунув голову наружу, прежде чем запереть церковную дверь, Теза увидела Розали, повисшую на шее долговязого Фортюне, который ее тут поджидал. Парочка скрылась в темноте по направлению к кладбищу, едва слышно обмениваясь поцелуями.

– И такие являются к алтарю пресвятой девы! – пробормотала Теза и задвинула засов. – Впрочем, и другие не лучше! Все эти распутницы приходили сюда нынче вечером со своими охапками только ради забавы да чтоб целоваться с мальчишками на паперти! А завтра ни одна из них и не подумает прийти в церковь. Господину кюре придется одному читать свой акафист. Разве что явятся те негодницы, которые назначат здесь свидание!

Прежде чем отправиться спать, Теза принялась с грохотом расставлять по местам стулья и осмотрела все вокруг: не обнаружится ли что-нибудь подозрительное? В исповедальне она подобрала пригоршню яблочной кожуры и забросила ее за алтарь. Она нашла также ленточку от чепчика с прядью черных волос; ее она завязала в узелок, чтобы наутро произвести дознание. В остальном церковь, видимо, была в полном порядке. В ночнике было достаточно масла на ночь; пол на хорах можно было до субботы не мыть.

– Скоро десять, господин кюре, – сказала она и подошла к священнику, все еще стоявшему на коленях. – Вам бы пора пойти к себе.

Но он ничего не ответил и только тихо наклонил голову.

– Ладно, знаю, что это значит, – продолжала Теза. – Через час он все еще будет стоять на коленях, на каменном полу, пока у него не начнутся колики. Ухожу, ведь я, видно, надоедаю. Все равно ничего хорошего в этом нет: завтракать, когда другие обедают; ложиться, когда уже петухи поют!.. Я вам надоедаю? Не правда ли, господин кюре? Покойной ночи! Разумно себя ведете, нечего сказать!

Она решила было уйти, но вернулась, потушила одну из двух лампад, проворчав, что поздняя молитва – «только маслу извод».

Наконец она ушла, вытерев рукавом пелену на главном престоле, показавшуюся ей посеревшей от пыли. Аббат Муре остался в церкви один, с поднятыми к небу глазами, с руками, сложенными на груди.

XIV

Церковь была освещена только одной лампадой, горевшей у алтаря святой девы среди зелени; большие тени трепетали, застилая остальное пространство с обеих сторон. Тень от кафедры достигала до самых балок потолка. Исповедальня, выделявшаяся темным пятном под хорами, казалась чем-то вроде зияющей будки. Весь свет, смягченный и как бы зеленоватый от листвы, покоился на большой вызолоченной статуе мадонны, которая с царственным видом точно спускалась на облаке, а вокруг нее резвились крылатые херувимы. Круглую лампаду, сиявшую среди ветвей, можно было принять за бледную луну, которая подымается на опушке леса и озаряет горнее видение: владычицу небес в златом венце и златом одеянии, проносящую наготу божественного младенца в глубину таинственных аллей. Меж листьями, вдоль высоких султанов-опахал, по широкой овальной беседке, по разбросанным на земле ветвям – по всей зелени скользили бледные, притушенные лучи, напоминавшие молочный блеск светлых ночей в чаще кустарника. Смутные звуки и треск долетали из темных углов церкви; большие часы, налево от хоров, медленно били с натужным хрипом ветхого механизма. Лучезарное видение – мадонна с тонкими прядями

каштановых волос, будто доверяясь ночному спокойствию церкви, спускалась ниже и точно пригибала легким облаком расстилавшуюся под ней траву лесных полей.

Аббат Муре глядел на нее. Он любил церковь в этот час. Он забывал изможденного Христа, размалеванного охрой и лаком страдальца, который умирал позади него, в приделе, посвященном усопшим. Священника теперь не отвлекали ни резкий свет из окон, ни веселье утра, входившее с солнцем, ни жизнь внешнего мира, ни воробьи, ни ветви, вторгавшиеся в середину храма сквозь разбитые стекла. В этот ночной час природа была мертва, тени затягивали крепом выбеленные стены; свежесть облекала его плечи власяницей спасения; он мог растворяться в беспредельной любви, и ни игра лучей, ни ласковое дуновение, ни аромат цветов, ни трепет крыл летающих насекомых не мешали ему радоваться своей любви. Никогда утренняя обедня не могла дать ему тех сверхчеловеческих наслаждений, какие приносила эта вечерняя молитва.

Шевеля губами, аббат Муре смотрел на большую статую мадонны. Ему казалось, что она приближается к нему из глубины своей зеленой ниши, во все возрастающем блеске и сиянии. Теперь ее озарял не лунный свет, скользивший по верхушкам деревьев. Нет, святая дева была теперь окутана солнечным светом, она шествовала среди такого величия, славы и всемогущества, что минутами он готов был пасть ниц, лишь бы не видеть нестерпимого блеска этой отверстой в небесах двери. И тогда, всем существом своим предаваясь такому поклонению, от которого слова молитвы замирали на его устах, аббат Муре вспомнил о последних словах брата Арканжиаса, и они показались ему богохульством. Черноризец часто упрекал аббата за его чрезмерное обожание святой девы: он говорил, что священник крадет таким образом долю любви от господя бога. По мнению монаха, такое обожание размягчало душу, придавало религии какой-то женственный характер, создавало атмосферу некой благочестивой чувствительности, недостойной сильных мужей. Он осуждал святую деву за то, что она женщина, что она прекрасна, что она мать; он остерегался ее, втайне страшаясь соблазна, страшаясь власти ее нежного очарования. «Она вас далеко заведет!» – крикнул он однажды молодому священнику. В преклонении перед святой девой монаху чудился зародыш человеческих страстей, он видел опасность обожания ее дивных каштановых волос, ясных огромных глаз, таинственных ее одеяний, ниспадающих от шеи до пят. Это был бунт праведника, резко отделявшего божью мать от ее сына и вопрошавшего, как бог-сын: «Жено, что общего между тобой и мною?» Но аббат Муре внутренне сопротивлялся и, повергаясь ниц, тщился забыть суровые проповеди монаха. В

такие минуты в душе его жила только незапятнанная чистота деви Марии, уводящей человека от низменных чувств к растворению в горней любви. И когда перед ликом позолоченной статуи мадонны ему начинало мерещиться, что дева Мария склоняется к нему, дабы он мог облобызать перевязь на пречистых ее волосах, он ощущал себя молодым, добрым, сильным и справедливым, исполненным нежности и кротости.

Эта благоговейная привязанность аббата Муре к святой деве зародилась еще в детстве. Был он ребенком немного диким и, прячась по углам, находил удовольствие в мечтах о покровительстве прекрасной дамы. Ее нежные синие глаза, ее улыбка следовали за ним всюду. Случалось, что ночью он чувствовал, будто чье-то дыхание касается его волос, и потом рассказывал, что святая дева приходила к нему во сне и целовала его. В атмосфере этой женской ласки, этого шуршания божественного платья он и вырос. С семи лет мальчик удовлетворял жажду нежности, тратя все свои маленькие сбережения на покупку образков, которые он ревниво прятал от постороннего глаза, чтобы наслаждаться ими наедине. Но никогда его не соблазняли ни изображения Иисуса, несущего агнца, ни распятого Христа, ни восседающего на облаке бога-отца, украшенного длинной бородою. Нет, он всегда оставался верен нежным изображениям деви Марии, с ее маленьким смеющимся ртом и изящными вытянутыми вперед руками. И понемногу он собрал целую коллекцию. Тут были: Мария между лилией и прялкой; Мария с младенцем, походившая на старшую сестру его; Мария в венке из роз; Мария в венце из звезд... Для него это было целое семейство прекрасных дев, напоминавших друг друга милостью, добротой, сладостью лика; под своими покрывалами они казались такими юными, что, хотя их называли божьими матерями, он не боялся их, как боялся взрослых. Они казались ему сверстницами, с которыми бы он охотно дружил, маленькими девочками небес; с ними, должно быть, мальчики, умершие семи лет, вечно играют в каком-нибудь уголке рая. Но и тогда уже он был серьезен. И, подрастая, хранил тайну своей благоговейной любви с юношеским целомудрием. Дева Мария выросла вместе с ним, оставаясь всегда старше его на год или на два, как и подобает властительной подруге. Когда ему исполнилось восемнадцать лет, ей уже было двадцать. Отныне она больше не целовала его в лоб по ночам; она стояла в нескольких шагах от его постели, скрестив руки на груди и глядя на него с чистой, восхитительно нежной улыбкой. Он произносил теперь ее имя лишь шепотом, и сердце его замирало всякий раз, когда обожаемое имя слетало с его уст во время молитвы. Он больше не грезил о детских играх в небесном саду, он мечтал о непрестанном созерцании этого светлого лика, до того непорочного, что он не посмел бы коснуться его своим дыханием. Даже от матери он скрывал, что любит деву Марию так сильно.

Позднее, несколько лет спустя, когда он был в семинарии, к этой нежности к пречистой деве, такой простой и естественной, стало примешиваться глухое беспокойство. Необходимо ли для спасения подобное обожание божьей матери? Не обкрадывает ли он бога, отдавая деве Марии часть своей любви, большую часть ее, посвящая ей свои мысли, свое сердце, всего себя? Эти мучительные размышления, эта внутренняя борьба снедали его, исполняя страстью и еще крепче привязывая к мадонне. Тогда он задумал разобраться в оттенках своего обожания. Он находил неслыханное наслаждение, обсуждая правоверность своего чувства. Книги о поклонении деве Марии оправдывали его в собственных глазах, восхищали его и снабжали доводами, которые он повторял с молитвенным благоговением. Из них он постиг, что можно быть рабом Иисуса, служа деве Марии. Он шел ко Христу через поклонение Марии. Он приводил всевозможные доказательства, рассуждал, делал выводы: коль скоро сам Иисус повиновался на земле богородице, стало быть, ей должны повиноваться все люди; и в небесах, где ей предоставлено право раздавать милости божьи, богородица сохраняет свою материнскую власть; она единственная заступница перед богом, единственная распределительница престолов. Дева Мария – создание божье, поднятое им до себя; и таким образом она служит звеном человеческим между небом и землей, посредницей всякой благодати, всякого милосердия. А посему ее надлежит любить превыше всего, любить в самом боге. Затем следовали еще более сложные, чисто богословские глубины: бракосочетание с небесным супругом, святой дух, запечатлевший сосуд избрания и содейвавший деву-мать носительницей чуда, предметом человеческого благоговения в ее беспорочной чистоте. И вот она становилась девою, торжествующею над всеми ересями, непреклонным врагом сатаны, новою Евой, о коей было ранее возвещено, что она сокрушит главу змия. Она превращалась в священные врата благодати, через которые спаситель мира уже снизошел однажды на землю и через которые ему предстояло вновь снизойти в последний день. То было смутное пророчество, возвещавшее новую, еще более высокую роль девы Марии и погружавшее Сержа в мечту о возможности беспредельного раскрытия божественной любви. Явление женщины в ревнивом и жестоком небе ветхого завета, ее сверкающий белизной образ у подножия вселяющей трепет троицы – все это было для него истинной благодатью религии, утешением в трудностях и испытаниях веры, прибежищем человека, заблудившегося среди церковных догматов. И как только он шаг за шагом доказал себе, что она была самым легким, коротким, совершенным и надежным путем ко Христу, он с новой силой отдался ей, весь целиком, не ведая больше угрызений совести. Он старался теперь быть ее истинным служителем, умереть для самого себя, раствориться в полном послушании.

Пора блаженного сладострастия. Книги о поклонении деве Марии жгли ему руки. Они говорили с ним языком струившейся, как ладан, любви. Теперь Мария не была больше юной девой в белом покрывале, со скрещенными руками, стоявшей в нескольких шагах от его изголовья. Нет, она являлась ему в сиянии славы, такую, какой увидел ее Иоанн, окутанной светом солнца, в венце из двенадцати звезд, с луною под ногами; она обдавала его своим благоуханием, зажигала в нем желание заслужить царствие небесное, приводила его в восторг блеском звезд, пылавших на ее челе. Он бросался перед ней на колени, называя себя ее рабом, и ничто не было слаще для него, чем слово «раб», которое он повторял трепещущими устами, повергаясь в прах перед нею, мечтая стать ее вещью, ничтожеством, пылинкой, которой она касалась краем своего голубого платья. Вторя Давиду, он говорил: «Ради меня создана Мария». Вместе с евангелистом восклицал: «Все мое благо в ней одной». И называл ее «своей дорогой госпожой». Из-за недостатка слов он переходил к лепету младенца или возлюбленного, к прерывистому, страстному дыханию. Святая дева была присноблаженной, царицей небесной, прославляемой девятью чинами ангелов, матерью мудрого избрания, сокровищем господя. В его душе начинали тесниться живые образы: он сравнивал ее с раем земным, взросшим на девственной почве, с грядями цветов добродетели, с зелеными лугами надежды, с неприступными твердынями крепости духа, с восхитительными жилищами упования. Она была также запечатленным источником святого духа, местом, где почиет святая троица, божьим престолом, градом божьим, алтарем божьим, храмом божьим, вселенною господней. И он прогуливался по этому саду, то в тени, то на солнце, очарованный зеленью; он жаждал испить из этого источника; он обитал в покоях девы Марии, черпая там силу и умиротворение и без остатка растворяясь всем своим существом, вкушая млеко бесконечной любви, стекавшее, капля за каплей, с ее девственной груди.

В семинарии он каждое утро, восстав ото сна, отбивал сто поклонов деве Марии, обратив взор к той полоске неба, что была видна ему из окна; по вечерам он прощался с нею и кланялся земно столько же раз, обратив глаза к звездам. Часто в ясные ночи, когда в теплом воздухе сияла бледная, мечтательная Венера, он забывался, и с уст его струился умиленный гимн «Ave maris stella»[20 - «Радуйся, звезда над морем» (лат.)]; он слегка напевал его, и перед ним вставали вдали голубые берега, тихое море, подернутое ласковой рябью и освещенное улыбающейся звездой величиною с солнце. Он читал еще: «Salve Regina», «Regina Coeli», «O gloriosa domina»[21 - «Здравствуй, царица», «Царица небесная», «О преславная владычица» (лат.)] – все молитвы, все песнопения. Он читал весь чин богородичной службы, благочестивые книги, написанные в ее восхваление, малый псалтырь св. Бонавентуры и был исполнен такого нежного

обожания царицы небесной, что слезы мешали ему переверачивать страницы книги. Он постился, умерщвляя свою плоть, принося ее в жертву пресвятой деве. Уже с десяти лет он носил одеяние ее служителя – святой нарамник с двойным изображением Марии, вышитым на сукне – и ощущал своей обнаженной кожей теплоту от него на спине и на груди, трепеща при этом от блаженства. Прошло несколько лет, и он надел вериги, чтобы показать рабство своей любви. Но величайшим деянием всегда оставалось для него ангельское прославление богородицы, «Ave Maria»[22 - «Богородица, дево, радуйся» (лат.)], совершеннейшая из молитв его сердца. «Богородица, дево, радуйся!» – возглашал он и видел, как она шествует к нему, исполненная благодати, благословенная в женах. Он бросал к ее ногам свое сердце, чтобы она прошла по нему, и это было ему сладостно. Свое приветствие он твердил несчетное число раз, на сто ладов, стремясь сделать его как можно более действенным. Он повторял по двенадцати раз кряду «Ave» в воспоминание о венце из двенадцати звезд, горящих на челе святой девы, затем повторял еще четырнадцать раз – в память четырнадцати ее радостей; вновь повторял семь десятков раз – в честь числа лет, прожитых ею на земле. И целыми часами он перебирал в руках зерна четок. А в иные дни, дни мистических свиданий, подолгу предавался бесконечному бормотанию акафистов «Розария».

Оставаясь на досуге один в своей келье, он преклонял колени на каменных плитах, и весь сад девы Марии начинал зеленеть вокруг него, полный высшего цветения целомудрия. Он читал «Розарий», и четки, перебираемые пальцами, словно нанизывали целую гирлянду «Ave» вперемежку с «Pater», как гирлянду белых роз, переплетенных лилиями благовещения, кроваво-красными цветами Голгофы и звездами возложения венца. Он медленно проходил аллеи, исполненные благоухания, и останавливался после каждого из пятнадцати десятков «Ave», погружаясь в таинство, соответствующее им. Он переходил от восторженной радости к печали, а затем к славе – сообразно тому, как таинства распадались на три вида: таинства радости, печали и славы. Он переживал тогда в одну минуту несравненную легенду всю целиком, все земное житие девы Марии, с улыбками, слезами и конечным торжеством. Сначала он приобщался к ее радости, входя в круг пяти лучезарных таинств, омытых ясным светом зари. То были: благовещение архангела, плодоносный луч, соскользнувший с небес и принесший с собою божественную истому беспорочного союза; посещение Елизаветы в светлое утро надежды, в тот час, когда Мария впервые ощутила во чреве своем движение младенца, от которого бледнеют все матери; затем рождение Христа возле ясель Вифлеема и длинная вереница пастухов, пришедших приветствовать божественное материнство; принесение новорожденного во храм на руках роженицы, которая, еще усталая,

уже счастливо улыбалась тому, что препоручает младенца правосудию божью, заботам Симеона-богоприимца и чаяниям мира. Наконец – Иисус, подросток и представший перед книжниками, в кругу коих встревоженная мать и находит его, гордясь сыном и утешаясь. После этого утра, полного нежного сияния, Сержу всякий раз казалось, что небо внезапно покрывается тучами. Теперь ему приходилось ступать по терниям, пальцы его обдирались от зерен четок, и он сгибался под ужасом пяти таинств скорби. То были: жестокие муки Марии за сына своего в Гефсиманском саду, боль, которую она вместе с ним испытывала под ударами бича, раны от его тернового венца, что, казалось, жгли ее чело, страшное бремя сыновнего креста и горе, подобное смерти, испытанное ею у ног его на Голгофе. Эта необходимость страдания, эти жестокие пытки обожаемой владычицы, за которую он охотно отдал бы кровь свою, как Иисус, каждый раз вызывали в нем ропот ужаса, и десять лет одних и тех же молитв и благочестивых упражнений не могли подавить его. Но зерна четок все перекатывались под пальцами, во тьме распятия возникал внезапный просвет, и радостным вольным светилом небесным вспыхивала ослепительная слава последних пяти таинств. Мария, преображенная, пела хвалу воскресению, торжеству над смертью, вечной жизни; простерши руки, охваченная восторгом, она присутствовала при торжестве своего сына, возносящегося на небо посреди золотых, окаймленных пурпуром облаков; она собирала вокруг себя апостолов и, как в день беспорочного зачатия, вновь вкушала пламя духа любви, нисходящего в языках пламени; затем ее самое уносил на небо ангельский хор на белоснежных крылах и бережно, точно киот, помещал среди блеска небесных престолов; и там в знак вышней славы, в таком ослепительном блеске, что он затмевал солнце, бог венчал ее звездами с тверди небесной. Для выражения страсти существует немного слов. Бормоча вереницу из полутораста «Ave», Серж ни разу не повторялся. Однообразное нанизывание одних и тех же, постоянно повторявшихся слов походило на непрерывное признание в любви и всякий раз приобретало все новое и более глубокое значение. Он останавливался, он без конца изъяснялся при помощи этой единственной латинской фразы и как бы познавал Марию все ближе; когда же последнее зерно четок проходило через его пальцы, он чувствовал, что изнемогает при мысли о приближении разлуки.

Много раз юноша проводил так целые ночи, по двадцать раз заново начиная вереницы «Ave» для того, чтобы отдалить минуту расставания со своей дорогой владычицей. Занимался день, а он все еще шевелил губами. «Это луна, – говорил он, обманывая самого себя, – затмевает своим светом звезды». Наставникам приходилось бранить его за эти бодрствования по ночам, после которых он казался таким разбитым и бледным, точно потерял много крови. Долгое время

на стене его кельи висела цветная гравюра «Сердце пресвятой богородицы»: мадонна, светло улыбаясь, приоткрыв корсаж, указывала на кроваво-красное отверстие в своей груди, где в венке из белых роз горело ее сердце, пронзенное мечом. Меч этот приводил его в отчаяние; он возбуждал в нем невыразимый ужас перед страданием женщины, одна мысль о котором выводила его из благочестивого послушания. И он стер изображение меча, оставив на картине лишь пылающее сердце в венке, точно рвущееся навстречу ему. И тогда-то он почувствовал себя любимым. Мария отдавала ему свое сердце, свое живое сердце, бывшее в ее груди, источая по капле розовую кровь. И теперь он был полон уже не восторженным благочестием, а чем-то более чувственным – бесконечной нежностью, заставлявшей его во время молитвы перед гравюрой благоговейно простирать руки навстречу этому сердцу, исторгавшемуся из беспорочной груди. Он видел это сердце, он слышал его биение. Он был любим: это сердце билось для него! Все существо его как будто безумело от жажды поцеловать это сердце, раствориться в нем и покоиться рядом с ним в этой отверстой груди. Она любила его горячо и в самой вечности хотела иметь его постоянно возле себя, при себе. Ее любовь была действенной; она всегда была занята им, всегда следовала за ним, охраняя его от малейших измен. Она любила его нежнее, чем все женщины, вместе взятые, любовью светлой, глубокой и бесконечной, как небо. Где мог бы он найти себе возлюбленную, столь желанную? Какую земную ласку можно было сравнить с этим дыханием девы Марии, которое повсюду овеивало его? Какую жалкую земную связь, какое нечистое наслаждение можно было положить на чашу весов, когда на другой чаше покоился этот вечный цвет желания, постоянно распускающийся и никогда не увядающий? И из уст его подымался, точно облако фимиама, «Magnificat»[23 - «Величит» (лат.).]

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Ангел» (лат.) – начальные слова молитвы в честь богородицы; перезвон колоколов.

2

Вниду ко алтарю господню (лат.).

3

К богу, который радуется юность мою (лат.).

4

Исповедую (лат.) – католическая молитва при исповеди.

5

Господь с вами (лат.).

6

И со духом твоим (лат.).

7

Помолимся... (лат.).

8

«Господи, помилуй» (греч.).

9

Богу благодарение (лат.).

10

Помолимся, братие (лат.).

11

Свят, свят, свят, господь бог Саваоф (лат.).

12

Ибо сие есть тело мое (лат.).

13

Ибо сие есть чаша (лат.).

14

И во веки веков (лат.).

15

Аминь (лат.).

16

«Отче наш» (лат.).

17

«Агнец божий» (лат.) – начальные слова молитвы.

18

Ступайте, обедня окончена (лат.).

19

Да благословит вас господь всемогущий, отец и сын и святой дух (лат.).

20

«Радуйся, звезда над морем» (лат.).

21

«Здравствуй, царица», «Царица небесная», «О преславная владычица» (лат.).

22

«Богородица, дево, радуйся» (лат.).

23

«Величит» (лат.).

Купить: <https://tellnovel.me/ru/emil-zolya/prostupok-abbata-mure>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)